



ДЕКОРДЖ
ОРУЭЛЛ

*Фунты лиха
в Париже и Лондоне*

АББУКА-КУЛАСЕНКА

Annotation

«На Рождество 1932 года Эрик Артур Блэйр привез родителям стопку пробных экземпляров своей первой книги «Фунты лиха в Париже и Лондоне». Прочтя написанную вольным, разговорным языком хронику скитаний по дну двух европейских столиц, мать чопорно резюмировала: «Это не Эрик». Миссис Блэйр была права; автором значился новый, никому еще не известный писатель – Джордж Оруэлл. Это потом, намного позже, его имя прогремит по всему миру, станет символом свободомыслия и будет ассоциироваться с двумя великими произведениями XX века: повестью-притчей «Скотское хозяйство» (1945) и романом-антиутопией «1984» (1949). А в 1933 году после выхода в свет повести «Фунты лиха в Париже и Лондоне» в литературных кругах впервые заговорили о новом самобытном писателе. И уже в первом крупном произведении Оруэлла проявились основные особенности его писательской манеры и стиля, для которых столь характерны внимание к языку, простота, достоверность и точность и которые, по выражению Т.С.Элиота, отличает «коренная честная прямота». Дебютная, во многом автобиографичная, повесть полна юмора, легка, динамична и остроумна. Не случайно многие поклонники творчества Оруэлла называют «Фунты лиха в Париже и Лондоне» своим любимейшим произведением.

Эта книга – всего лишь яркий эпизод из большого репортажа Жизни, эпизод, вызывающий одновременно невольную усмешку и восхищение.

- [Джордж Оруэлл](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)

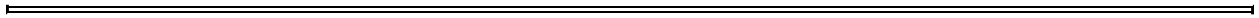
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)

- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)

- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)

- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)

- [130](#)
- [131](#)



Джордж Оруэлл

Фунты Лиха в Париже и Лондоне

«О злейший яд, докучливая бедность!»

Джеффри Чосер

Париж, улица дю Кокдор, семь утра. С улицы залп пронзительных бешеных воплей – хозяйка маленькой гостиницы напротив, мадам Монс вылезла на тротуар сделать внушение кому-то из верхних постояльцев. У мадам деревянные сабо на босу ногу, седые волосы растрепаны.

Мадам Монс: «*Sacree Salope!*^[1] Сколько твердить, чтоб клопов не давила на обоях? Купила, что ли, мой отель? А за окно, как люди, кидать не можешь? *Espece de trainee!*^[2]»

Квартирантка с четвертого этажа: «*Va donc, eh! Vieille vache!*»^[3]

Следом под стук откинутых оконных рам со всех сторон разноразной ураганом летящих криков, и половина улицы влезает в свару. Рты затыкаются внезапно, когда минут десять спустя народ смолкает, заглядевшись на проезжающий отряд кавалеристов.

Рисую эту сценку лишь с целью как-то передать дух улицы дю Кокдор. Не то что ничего другого тут не случилось, но утро редко проходило без таких взрывов. Атмосфера вечных скандалов, заунывного речитатива лоточников, визга детей, гоняющих ошметок апельсиновой корки по булыжнику, ночного шумного пения и едкой вони мусорных баков.

Улица очень узкая – ущелье в массе громоздящихся, жутковато нависающих кривых облезлых домов, будто застывших при обвале. Сплошь гостиницы, все до крыш набиты постояльцами, в основном арабами, итальянцами, поляками. На первых этажах крохотные «бистро», где шиллинг обеспечивал щедрую выпивку. В субботу вечером примерно треть мужчин квартала перепивалась. Велись сражения из-за женщин; арабские чернорабочие, гнездившиеся по углам самым убогим, выясняли свои таинственные распри с помощью стульев, а подчас и револьверов. Полицейские патрули ночью улицу обходили только парами. Место, что называется, сомнительное. Тем не менее среди грохота и смрада жили также обычные добропорядочные французы: прачки, лавочники, прочие пекари-аптекари, умевшие, сидя по тихим норкам, скапливать неплохой капитал. Вполне типичная парижская трущоба.

Моя гостиница называлась «Отелем де Труа Муано» («Трех воробьев»). Ветхий, мрачный пятиэтажный муравейник, мелко порубленный дощатыми перегородками на сорок комнат. В номерах грязь вековая, так как горничных не водилось, а мадам Ф., нашей

patronne^[4], подметать было некогда. По хлипким, спичечной толщины стенам многослойно наляпаны розовые обои, предназначенные маскировать щели и, отклеиваясь, давать приют бесчисленным клопам. Их вереницы, днем маршировавшие под потолком будто на строевых учениях, ночами алчно устремлялись вниз, так что часок-другой поспишь и вскочишь, творя лютые массовые казни. Если клопы слишком уж допекли, жжешь серу, изгоняя насекомых за переборку, в ответ на что сосед устраивает серное возжигание в **своем** номере и перегоняет клопов обратно. Жилось тут негигиенично, зато, благодаря славному нраву мадам Ф. и ее супруга, уютно. Стоило житье от тридцати до полусотни франков в неделю.

Состав народонаселения переменчивый, по преимуществу из иностранцев, являвшихся часто без багажа, квартировавших неделю, затем снова исчезавших. Кого тут только не было – сапожники, землекопы, строители, каменотесы, старьевщики, студенты, проститутки. Встречались фантастические бедняки. На одном из чердаков обитал молодой болгарин, шивший элегантную обувь для американских магазинов. С шести утра до полудня сидел на койке, ежедневно изготавливая дюжину пар и зарабатывая этим тридцать пять франков, остальную часть дня слушал профессоров в Сорбонне. Юноша готовился к поприщу богослова, и труды по теологии раскладывались вверх корешками на полу, засыпанном обрезками кожи. В другом номере проживали русская дама с сыном, называвшем себя художником. Пока сынок болтался из кафе в кафе Монпарнаса, мать по шестнадцать часов в сутки штопала: носок за двадцать пять сантимов. Был номер, что сдавался сразу двоим жильцам – служившему днем и работавшему в ночную смену. Был также номер, где на единственной кровати спали вдовец и две его чахоточные взрослые дочери.

Попадались фигуры крайне своеобразные. Парижские трущобы – сборный пункт личностей эксцентричных, выпавших в особую свою, почти бредовую колею, бросивших даже притворяться нормальными или хотя бы приличными. Нищета избавляет от общих правил так же как деньги от труда. У некоторых из жильцов образ жизни отличался неопишным чудачеством.

Скажем, чета Ружиер. Парочка старых, лилипутского роста оборванцев занималась весьма курьезным ремеслом. Вообще-то они торговали открытками на бульваре Сен-Мишель. Фокус в том, что открытки продавались наглухо запечатанным пакетом – как порнография, являясь просто видами старинных замков на Луаре. Покупатель это обнаруживал чересчур поздно; жалоб, разумеется, не поступало.

Наторговывая недельную сотню франков и соблюдая строгую экономию, Ружиеры умудрялись всегда держать себя в привычном полуголодно-полупьяном равновесии. Зловоние из их каморки шибало в нос уже на предыдущем этаже. По уверению мадам Ф., супруги Ружиеры ни разу за четыре года не раздевались.

Или Анри, работник городской канализации. Угрюмый, долговязый и кудрявый, слегка напоминал романтического рыцаря в своих высоких болотных сапогах. Странностью Анри было полное, кроме чисто служебной надобности, безмолвие – молчал буквально целыми днями. Всего лишь год назад хорошо обеспеченный шофер, регулярно пополнявший банковский счет, Анри в один прекрасный день влюбился, натолкнулся на отказ и в бешенстве поддал любимой крепким ударом футболиста. От пинка девушка зажглась безумной страстью, пару недель они прожили вместе, растратив тысячу из кубышки Анри. Затем красотка изменила. Анри всадил ей в руку нож и отправился на полгода за решетку. Пронзенная ножом, девушка полюбила Анри жарче прежнего; размолвка была забыта, молодые люди договорились, что Анри, отсидев срок, купит такси, они поженятся и начнут вить свое гнездо. Но через две недели ветреница вновь изменила, так что ко дню выхода Анри на свободу ждала ребенка. С ножом Анри уж больше не кидался, а снял все свои сбережения и запил, получив в итоге еще месяц тюрьмы, после чего нанялся в службу канализации. Ничто не могло вытянуть из Анри хоть словечко. Спросишь его, почему он решил копаться в городских стоках, ничего не ответит, лишь покажет скрещенные запястья, изображая наручники, и мотнет головой на юг, в сторону тюремных стен. Невезение, видно, разом отшибло у него мозги.

Или вот англичанин Р., полгода живший с родителями в Патни, другие же полгода во Франции. Французский свой сезон он проводил, каждодневно выпивая четыре литра вина, по субботам – шесть литров; однажды даже совершил вояж к Азорским островам, влекомый необыкновенной для Европы дешевизной тамошних вин. Существо нежное и кроткое, Р. никогда не буянил, не ворчал и ни на миг не трезвел. До середины дня лежал в постели, а затем до полуночи сидел в любимом уголке бистро, тихо и методично набираясь. Накачавшись, тоненьким деликатным голосом вел беседы об антикварной мебели. Кроме меня Р. был единственным в квартале англичанином.

Хватало и других, не менее причудливых персон: месье Жюль, румын, имевший стеклянный глаз, но факт этот категорически отвергавший; лимузенский каменотес Фуре; скряга Руколь, умерший, правда, до моего

приезда; Лоран, старик тряпичник, всегда носивший при себе клочок бумаги, с которого перерисовывал свою подпись. Было бы, вообще говоря, заманчиво изложить несколько биографий. Однако я пишу об окружавших меня курьезных типах лишь потому, что все они часть темы. А тема моего рассказа – бедность, впервые коснувшаяся меня здесь. Здешняя трущоба и диковинные здешние судьбы преподали первый наглядный урок нищеты, положив основание дальнейшим моим упражнениям в этом предмете. Вот почему следует дать некое общее представление о том, что же вокруг творилось.

Жизнь нашего квартала. Ну, хотя бы наше бистро при входе в «Отель де Труа Муано». Крохотный полуподвальчик, кирпичный пол, мокрые от вина столики, фотография похорон с надписью *Credit est mort*^[5], красные головные платки рабочих, отхватывающих ломти колбасы складными тесаками, пышущее здоровьем лицо мадам Ф., ослепительной крестьянки из Оверни, то и дело глотающей рюмочки малаги «для желудка», перестук костяшек в играх на аперитив и песни про *Les Fraises et les Framboises*^[6], про Мадлен, озадаченную *Comment epouser un soldat, moi qui aime tout le regiment?*^[7], и чрезвычайно откровенная демонстрация нежных чувств. Чуть ли не вся гостиница сходилась вечерами в нашем бистро; думаю, трудно найти лондонский паб, где бы хоть в четверть так веселились.

Речи порой звучали странные. Как пример, приведу монолог малыша Шарля, одного из местных чудаков.

Чтобы представить этого высокообразованного отпрыска благородного семейства, который, сбежав от родных, ныне существовал на получаемые изредка денежные переводы, вообразите пупсика с тугими розовыми щечками, шелком каштановых волос и вишенками ярко красных влажных губ. Ножки у него малюсенькие, ручки неправдоподобно коротки, на пальцах младенческие ямочки; говорит, пританцовывая, как бы не в силах обуздать шаловливую резвость. И вот три часа дня, и в бистро никого кроме мадам Ф. да парочки безработных, но перед кем выступать, Шарлю все равно, ведь есть возможность поразглагольствовать о собственной персоне. Витийствует подобно оратору на баррикаде, звучно модулируя фразы и патетично взмахивая руками. Поросячьи глазки возбужденно блестят, смотреть на него слегка муторно.

Любимый сюжет рассуждений Шарля – любовь.

«Ah, l'amour, l'amour! Ah, que les femmes m'ont tue!»^[8] Да, *messieurs et dames*^[9], женщины меня сгубили, сгубили окончательно и безнадежно. В двадцать два года изнурен, истощен до капли... Но какие тайны открылись мне, в какие бездны я заглянул! Это ли не триумф – обрести высочайшую мудрость, постичь сокровенный смысл бытия, бытия человека поистине *raffine, vicieux*^[10]...

...*Messieurs et dames*, вам грустно, о, конечно. Ah, *mais la vie est belle*^[11] – я умоляю вас, оставьте грусть и устремитесь к радости!

Наполним же кубки самосским вином,
Забудем о наших печалях!

Ах, как прекрасна жизнь! Слушайте, дамы и господа! Я, столь многое познавший, раскрою, объясню вам сущность любви. Я покажу вам, что есть подлинная любовь, подлинная утонченность любовной страсти, высшее из наслаждений, доступное лишь посвященным. Я расскажу вам о счастливейшем дне моей жизни. Увы, минули времена, когда я упивался таким блаженством. Оно навек покинуло меня – и чувство, и даже желание его канули безвозвратно.

Слушайте же, господа. Это случилось два года тому назад; мой брат – он, кстати, адвокат – наведлся в Париж, имея от семьи поручение разыскать меня и пригласить на ужин. Мы с братом ненавидели друг друга, но всегда соблюдали должное почтение к воле родителей. И мы отправились в ресторан, где после третьей бутылки бордо братец изрядно захмелел. Доставив его к нему в отель и купив по дороге бренди, я заставил единоутробного выпить целый стакан – уговорил, что это замечательно трезвит. Он выпил, тотчас рухнув словно бездыханный, мертвецки пьяный. Я подхватил тело, оттащил, привалил спиной к кровати, затем исследовал карманы. Тысяча сто франков! Оставалось поторопиться вниз, схватить такси и умчаться. Адреса моего братца не знал – безопасность гарантировалась.

Куда идет мужчина с тугим бумажником? Естественно, в бордель. Вы не предполагаете, конечно, что меня соблазнял какой-нибудь пошлый разврат, услада чумазных рыл? Перед вами, черт возьми, не дикарь! С тысячей франков, как вы понимаете, можно дать волю прихотям самым утонченным. Только в полночь нашлось наконец нечто подходящее. Вдали от бульваров я свел знакомство с очень изысканным юношей лет восемнадцати – смокинг, стрижка *a l'americaine*^[12], – мы разговорились в тихом бистро, обнаружили сходство вкусов, поболтали о том, о сем, о способах развлечься. Вскоре взяли автомобиль и поехали.

Такси остановилось возле узкой безлюдной улочки. Мерцало пятно единственного фонаря, на выщербленной мостовой чернели лужи, по одной стороне тянулась глухая монастырская стена. Мой гид подвел меня к высокой развалюхе с темными окнами и постучал. Послышались шаги, задвижка лязгнула, дверь приоткрылась. Вылезла рука – огромная кривая лапа с жадно загнутой прямо перед нашими лицами ладонью.

Гид мой, поставив ногу в дверную щель, спросил: «Сколько?». «Тысячу, – прохрипел женский голос. – Деньги вперед, иначе ходу нет».

Я вложил тысячу франков в хищную лапу, а остальные сто отдал

милому юноше, который пожелал мне приятной ночи и удалился. Слышно было, как за дверью бормочут, считая купюры, затем тощая старая ворона, вся в черном, высунув нос, долго и подозрительно меня разглядывала прежде чем впустить. Внутри темно, не видно ничего кроме трепещущего газового огонька, ярким отсветом на стене только сгущавшего окружающий мрак. Пахло пылью и крысами. Старуха, молча запалив свечку от рожка, так же молча заковыляла впереди по каменному коридору к лестнице.

«Voila!^[13] – проговорила она. – Спускайтесь в подвал и делайте что хотите. Ничего не увижу, не услышу и ничего не буду знать. У вас свобода, ясно? Полная свобода».

Ах, господа, надо ли описывать – *forcement*^[14], вы и сами это извели – эту дрожь ужаса и восторга, пронзающую человека в подобные мгновения? Ощупью я стал пробираться вниз; тихо, ни звука, только шелест собственного дыхания и шорох своих шагов. На нижней лестничной площадке под рукой обнаружился электрический выключатель. Я нажал кнопку, и массивная гроздь из дюжины стеклянных красных шаров залила весь подвал багровым светом. И не подвал предстал передо мной, а спальня – огромная, вызывающе роскошная спальня, полная до краев оттенками багрянца. Вообразите только, *messieurs et dames*! Красный ковер на полу, красные обои, красный плюш кресел и даже потолок красный везде горящее, бьющее в глаза красное. Душное красное, будто светящееся сквозь хрустальные чаши крови. В глубине помещения гигантская квадратная кровать с красным, как и все остальное, покрывалом; на постели девица в красном бархатном платье. При виде меня она сжалась, попытавшись закрыть колени коротенькой юбчонкой.

Я замер в дверях. Позвал: «Иди же ко мне, цыпочка».

Она испуганно захныкала. Тогда одним прыжком я на кровати; девица вертелась, отворачивалась, но я схватил ее за горло – вот так, накрепко! Она билась и молила о пощаде, но я не ослаблял железной хватки, упорно запрокидывая ей голову и неотрывно глядя в глаза. На вид ей было лет двадцать; широкое коровье лицо напудрено и нарумянено, но все еще лицо глупой девчонки, и в глупых голубых глазенках вместе с бликами красной люстры бился тот сумасшедший страх, узреть который нам дано лишь во взглядах подобных женских существ. Несомненно, какая-то крестьянка, проданная родителями в рабство.

Без единого слова я, резко дернув, скинул ее на пол. И набросился на нее как тигр! Ах, восторг, несравненные радости былого! Вот, *messieurs et dames*, что я взялся вам изъяснить, – *voila l'amoure*! Вот любовь подлинная,

вот единственно достойный объект стремлений, вот то, рядом с чем все ваши искусства, идеалы, взгляды, теории, благородные позы, возвышенные речи бесцветны и бесплотны словно пепел. Какое из земных сокровищ окажется для человека, познавшего любовь – истинную любовь, – выше хотя бы тени, призрака этого восторга?

Снова и снова повторял я свои все более свирепые атаки, опять и опять девица пыталась спастись. Она взмолилась о пощаде, но в ответ прозвучал мой хохот. «Пощадить? – рассмеялся я. – По-твоему, я здесь для этого? За это, по-твоему, брошена тысяча франков?» И клянусь, господа, если бы не цепи проклятого закона, я бы ее тогда угробил.

Ах, как она кричала, с какой отчаянной, горчайшей мукой! Но никто не услышал – под парижскими мостовыми мы были скрыты подобно фараонам в их пирамидах. Слезы ручьем текли по девичьим щекам, размывая пудру длинными грязными канавками. О, золотые дни! Вам, *messieurs et dames*, вам, не изощившим любовный пыл, трудно и почти невозможно оценить сладость моего наслаждения. Да и сам я, простившись с юностью, о, моя юность! никогда уже не смогу вкусить жизни столь восхитительной. Кончено!

Да, все в прошлом – в невозвратном прошлом. Ах, скудость, краткость, тщетность человеческой радости! Ибо на самом деле – *car en realite* – сколько же длится высочайшее воспарение любви? Нисколько: миг, мгновение, секунду. Секунда блаженного экстаза, вслед за которой прах и пустота.

Итак, всего на миг я взмыл к вершине счастья, затрепетал чувством острейшим и тончайшим из всех возможных... И тут же мгновение пронеслось, а я, покинутый, остался – но зачем? Вся моя страсть, моя свирепость вдруг исчезли, осыпались сухими лепестками увядшей розы. А я остался, безразличный, истомленный, полный напрасных сожалений; в этой внезапной перемене чувств я испытал даже некую жалость к хнычущей на полу девице. Не гнусно ли, что нас подстерегают ловушки столь пошлых эмоций? На девчонку я больше не взглянул, единственным желанием было скорей убраться. Поспешив вверх по ступеням, я выбежал из дома. Тьма и жуткий холод, камни булыжника вторили стуку моих каблуков глухим пустынным звоном. Деньги все разлетелись, не нашлось даже мелочи на такси, и я пешком добирался обратно, в свою холодную одинокую келью.

Вот, *messieurs et dames*, то, о чем обещал я вам поведать. О сущности Любви. О лучшем, счастливейшем дне моей жизни».

Специфическим экземпляром был этот малыш Шарль. Описываю я его

исключительно ради иллюстрации пестроты нравов, расцветавших на почве квартала Кокдор.

Мое житье-бытье на улице Кокдор длилось примерно года полтора. В один прекрасный летний день я обнаружил себя исчерпавшим финансовый запас до жалких четырех с половиной сотен и не имеющим сверх того ничего кроме тридцати шести франков в неделю за уроки английского. Прежде о будущем не думалось, но тут уж стало ясно, что надо срочно что-то предпринимать. Решив начать подыскивать работу, я первым делом – очень мудро, как оказалось, – авансом отдал двести франков в счет оплаты своего номера еще на месяц. Оставшихся денег плюс гонораров от учеников вполне хватало прожить этот месяц, в течение которого место наверное бы отыскалось. Я намеревался сделаться гидом или, может, переводчиком какой-нибудь из туристических компаний. Увы, злой рок нанес опережающий удар.

В гостиницу явился молодой итальянец, представился наборщиком, хотя выглядел несколько сомнительно, так как длинные баки вдоль щек – цеховой знак занятий либо криминальных, либо сугубо умственных – никак не позволяли определить разряд клиента. Обеспокоенная двусмысленным впечатлением, мадам Ф. строго попросила деньги вперед. Итальянец заплатил, поселившись на неделю. За эти дни он успел изготовить копии нескольких ключей и в ночь перед исчезновением обчистил дюжину комнат, включая и мою. Хорошо еще, вор не вытряхнул все из карманов, я мог бы остаться вовсе без гроша. Остался с капиталом в сорок семь франков (семь шиллингов, десять пенсов).

Планы искать работу рухнули. Нужно было научиться жить на шесть франков в день, а это поначалу не позволяет слишком отвлекаться. Тогда и начался мой личный опыт убогой бедности, ибо шесть франков в день если не пропасть нищеты, то вполне ощутимое вступление в ее пределы. Шесть франков – шиллинг, с этой малостью знающий человек в Париже держится. Но дело хитрое.

Вообще, интересно – первые собственные ощущения бедняка. Предчувствовал, что рано или поздно это настигнет, ждал, робел, готовился, столько раз представлял, а в реальности все неожиданно. Думалось, простота – нет, поразительные сложности. Думалось, кошмар – нет, унылая серая скука. И та особая, чисто бедняцкая **жалкость**, которую для себя открываешь, поневоле учась всяческим мизерным уловкам, крохоборству.

Открываешь еще одну неперенную спутницу нищеты – потаенность. Внезапно сброшенный на уровень шести франков в день, признаться в этом, разумеется, стыдишься, пыжишься притворяться, что все по-прежнему. Изворачиваешься враньем, оплетающим по рукам и ногам и плоховато помогающим. Перестаешь, например, отдавать белье в стирку, а на вопрос поймавшей тебя у подъезда прачки невразумительно бормочешь, и прачка, убежденная, что ты переметнулся к ее конкурентке, с этого дня твой вечный враг. Хозяин табачной лавки неотвязно интересуется, отчего ты стал меньше курить. Скапливаются письма, на которые хотел бы, да не можешь ответить, так как слишком дороги марки. И потом стол – пожалуй, гнуснейшая проблема. На время каждой трапезы уходишь якобы в ресторан и слоняешься, созерцая голубей Люксембургского сада. Провизию затем тащишь к себе тайком, в карманах. Питаешься хлебом с маргарином или же хлебом с вином, причем даже сорт продуктов определяется общим враньем. Хлеб вместо серого ты должен покупать ржаной, поскольку он хоть и дороже, зато круглый, то есть удобнее для контрабандной карманной доставки. На хлеб по франку в день. Иногда ради соблюдения декора приходится выпить стаканчик – соответственно нехватка пищи на шестьдесят сантимов. Белье становится ужасным, кончаются мыло и бритвы. Необходимо подстригаться, результат самостоятельных попыток столь дик, что бежишь к парикмахеру, возвращая достаточно приличный вид ценой дневного рациона. С утра до вечера ложь, и дается она недешево.

Выясняется крайняя ненадежность шести франков в день. Подлые бедствия то и дело лишают пропитания. Истратив последние восемьдесят сантимов на кружку молока, кипятишь его над спиртовкой, во время этой процедуры замечаешь ползущего по рукаву клопа, щелкаешь ногтем – хоп! насекомое падает прямо в молоко. Ничего не поделать: молоко выплескиваешь, сидишь голодным.

Идешь в булочную купить фунт хлеба, ждешь, пока впереди отпускают тоже фунт. Но небрежная продавщица отрезает чуть больше: «*Pardon, monsieur*», – щебечет она, – не возражаете побольше на два су?». Хлеб по франку за фунт, в кармане ровно франк. Представив, что и тебе вдруг предложат доплатить два су, вынудив сознаться в их отсутствии, спасаешься паническим бегством. Лишь многие часы спустя отважишься снова зайти сюда за хлебом.

Решаешь франк потратить на килограмм картофеля, но одна из монет оказывается бельгийской и зеленщик ее бракует. Выскальзываешь из лавки с тем чтобы уже никогда там не появляться.

Забредаешь в респектабельный квартал, видишь идущего навстречу приятеля и, скрываясь, ныряешь в ближайшее кафе. В кафе, однако, надо что-нибудь заказать, так что последние полфранка дарят тебе чашечку кофе с плавающей сверху дохлой мухой. И череда подобных бедствий бесконечна, являясь частью берущей за горло нужды.

Открываешь, что такое – быть голодным. С комком хлеба и маргарина на дне желудка ходишь, глазеешь на витрины. Везде еда, гигантские, оскорбительно расточительные груды: свиные туши, корзины горячих булок, пирамиды желтых плит масла, связки колбас, горы картофеля, огромные, как точильные камни, швейцарские сыры. От вида всей этой массы съестного переполняешься сопливой жалостью к себе. Роятся планы схватить батон и сожрать на бегу, до того как поймают; не решаешься исключительно из трусости.

Открываешь неотделимую от бедности хандру; тянутся дни, когда дел никаких, а сам ты, вялый, недокормленный, ко всему безразличен. Полдня валяешься в кровати, ощущая себя истинным бодлеровским *jeune squelette*^[15]; возродить «кости, изнывшие от пыток» могла бы лишь еда. Экспериментально устанавливаешь, что после недели на хлебе и маргарине мужчина больше не мужчина, только брюхо с какими-то деталями.

Вот она – описывать можно и дальше, но суть та же, – жизнь на шесть франков в день. И многие в Париже так существуют: упорные художники и студенты, проститутки в полосе невезения, всяческий безработный люд. Жители целого своего округа, предместья нищих.

Я осваивал этот стиль бытования около трех недель. Сорок семь франков быстро испарились, пришлось выкручиваться на те тридцать шесть в неделю, что приносили уроки английского. С деньгами по неопытности я управлялся плохо, иногда обрекая себя на абсолютно голодный день. Тогда продавал что-нибудь из вещей: украдкой выносил в пакетах и тащил в скупку на улицу Монтань Сент-Женивьев. Скупщиком там был рыжий еврей, наглейший хам, впадавший при виде клиентов в ярость, будто наши визиты его разоряли. «*Merde!*^[16] – кричал он. – **Опять** явился? Тебе что тут? Бесплатный суп?». Платил он немыслимо мало. За шляпу, стоявшую мне двадцать пять шиллингов, почти не ношеную, бросил пять франков, пять дал за прекрасные ботинки, за рубашки кидал по франку. Всегда норовил не купить, а обменять, пихнув тебе какой-то хлам и прикинувшись, будто сделка состоялась. Однажды на моих глазах, взяв у старухи еще вполне приличное пальто, сунул ей в руку два белых бильярдных шарика и мигом вытолкнул, не дав опомниться. Приятно было

бы разбить мерзавцу нос, если бы это было по карману.

Трехнедельные тяготы и страхи обещали несомненное ухудшение: надвигался срок платы за гостиницу. Однако стало вовсе не так плохо, как представлялось. На подступах к нищете делаешь среди прочих открытие, которое уравнивает много других. Узнаешь и хандру, и жалкие хитрости, и голод, но вместе с тем и величайшее спасительное свойство бедности – будущее исчезает. В определенном смысле, действительно чем меньше денег, тем меньше тревог. Единственная сотня франков повергает в отчаянное малодушие; единственные три франка не нарушают общей апатии: сегодня три франка тебя прокормят, а завтра это слишком далеко. Маешься тоской, но не боишься. Смутно раздумываешь: «Через пару дней придется просто голодать – кошмар ведь?». И рассеянная мысль тускнеет, уползает куда-то в сторону. Хлебно-маргариновая диета неплохо, надо сказать, лечит нервы.

И еще одно чувство, дарующее в нищете великое утешение. Думаю, каждому, кто узнал почем фунт этого лиха, оно знакомо. Чувство облегчения, почти удовлетворения от того, что ты наконец на самом дне. Часто говорил себе, что докатишься, ну вот и докатился, и ничего, стоишь. Это прибавляет мужества.

Мое преподавание английского внезапно завершилось. Наплывал зной, и один желторотый ленивец, изнемогая над грамматикой, меня уволил. Другой питомец, не предупредив, куда-то переехал, оставшись должным мне двенадцать франков. Я оказался с тридцатью сантимами и без крошки табака. Полтора дня я не ел, не курил, а затем, призванный голоданием к решительности, сложил наличное имущество для срочной сдачи в ломбард. Так наступил конец лжи о благополучии, ведь вынести чемодан из гостиницы без разрешения мадам Ф. я не мог. Помню, однако, ее удивление, когда я обратился к ней с просьбой вместо того чтобы вытащить вещи тайком, популярнейшим трюком нашего квартала было «смыться потихому».

Первый раз я увидел французский ломбард. Через величественный каменный портал (естественно, со скрижалью «*Liberte, Egalite, Fraternite*»^[17] такой-то, на пятьдесят франков?). Иногда предлагают всего пятнадцать франков, даже десять, даже пять – сколько бы ни назначалось, слышит это вся комната. Когда я появился, клерк с оскорбленным выражением лица крикнул: «*Numero 83*, сюда!» и, мотнув головой, присвистнул, словно подзывая пса. *Numero 83*, бородатый старик в застегнутом до горла пальто и с бахромой на брюках, пошел к прилавку. Клерк молча швырнул ему узел, не стоивший, по-видимому, ничего. Узел упал на пол и развернулся, продемонстрировав четыре пары теплых кальсон. Грянул общий невольный смех. Бедняга *Numero 83*, подобрав кальсоны и бормоча что-то, поплелся прочь.

Вещи, которые я отдавал вместе с чемоданом, стоили при покупке более двадцати фунтов и были в хорошем состоянии. Предполагая, что цена им фунтов десять и дадут четверть (ждешь в ломбарде обычно четверть цены), стало быть франков триста, я не тревожился. Ну, в худшем случае получу двести.

Наконец прозвучал мой номер: *Numero*^[18] 97!

– Да, – поднялся я.

– Семьдесят франков?

Семьдесят франков за вещи стоимостью десять фунтов! Но спорить не приходилось; некто пытался возражать, и заклад его тотчас был отвергнут. Взяв деньги и квитанцию, я вышел. Одежды у меня осталось лишь то, что было на мне (пиджак с почти протертыми локтями, пальто, которое еще

годились для ломбарда), и одна сменная рубашка. Позднее, к сожалению слишком поздно, я узнал, что не стоит посещать ломбард с утра. Французские конторщики, как вообще большинство французов, до обеда в дурном расположении духа.

Завидев меня, убиравшая быстро мадам Ф. бросила швабру и поспешила мне навстречу. В глазах заметная тревога насчет квартирной платы:

– Ну как? Сколько вам дали за все вещи? Что, маловато?

– Двести франков, – быстро проговорил я.

– *Tiens!*^[19] – вскинула брови мадам Ф. – Совсем, **совсем** неплохо. Дорога уж, видно, эта английская одежда!

Ложь избавила от весьма неприятных объяснений и, как ни странно, подтвердилась. Спустя несколько дней мне заплатили ровно двести франков, давно обещанные за газетную статью. С болью, однако же немедленно и до сантима весь гонорар я отдал в счет дальнейших недель у мадам Ф. Так что, хотя жить пришлось впроголодь, все-таки была крыша над головой.

Найти работу стало совершенно необходимо, и тут мне вспомнился один русский приятель, официант по имени Борис, который, вероятно, мог бы помочь. Мы познакомились в палате муниципальной клиники, где мне лечили артрит левого колена; Борис тогда приглашал заходить в случае любых затруднений.

Оригинальную личность Бориса, долгое время ближайшего моего сотоварища, надо вкратце обрисовать. Это был крупный, явной военной стати красавец лет тридцати пяти, правда, из-за болезни, от длительного постельного режима чудовищно растолстевший. Как у всех русских беженцев, за плечами жизнь, полная приключений. Родители, расстрелянные в Революцию, были из богачей, сам Борис всю войну прослужил офицером Второго сибирского полка, лучшего, по его словам, отряда российской армии. В эмиграции работал сначала на фабрике по производству щеток, затем рыночным грузчиком, потом мойщиком посуды и дорос, наконец, до официанта. Заболел он, когда служил в «Отеле Скриб», имея в день по сотне франков чаевых. Мечтой Бориса было стать метрдотелем, накопить пятьдесят тысяч и завести аристократический ресторанчик на Правом берегу.

О войне Борис вспоминал как о счастливейших временах. Война и армия являлись его страстью. Прочтя бесчисленные сочинения по военной истории, он мог в тонкостях разобрать детали тактики и стратегии Наполеона, Кутузова, Клаузевица, Мольтке и Фоша. Все связанное с армией

радовало его сердце. «Клозери де Ли́ла» сделалось его любимым парижским кафе лишь потому, что рядом стоял памятник маршалу Нею. Когда нам с ним случалось вместе добираться до улицы Коммерс, то, если мы ехали на метро, он непременно выходил не на ближайшей станции «Коммерс», а на «Камброн», столь сладостно напоминавшей ему доблесть генерала Камброна, который в битве под Ватерлоо на предложение сдаться ответил кратким *Merde!*

Революция оставила Борису только его медали и пакет полковых фотографий – их он сохранил даже тогда, когда буквально все ушло в ломбард. Чуть ли не каждый день снимки раскладывались на кровати и комментировались:

– *Voilà, mon ami!*^[20] Вот взгляни-ка, это я во главе моей роты. Молодцы ребята, богатыри, а? Не то что крысята-французики. В двадцать лет капитан – неплохо? Да, капитан Второго сибирского, а отец-то был полковником.

Ah, mais, mon ami!^[21] жизнь это взлеты и падения! Капитан русской армии и вдруг, бац! революция – все прахом, ни гроша. В шестнадцатом году неделю снимал люкс в «Отеле Эдуард VII», в двадцатом туда попросился ночным сторожем. Побывал сторожем, уборщиком, кладовщиком, плонжером^[22] и смотрителем клозета. И сам давал лакеям чаевые, и принимал с поклоном.

Эх, однако знал я что такое жить джентльменом, *mon ami*. Не ради хвастовства скажу, на днях пробовал вспомнить, сколько любовниц у меня было, и вышло больше двухсот. Да, за двести точно... Эх, ладно, *sa revivendra*^[23]. Победа с тем, кто не сдается! Выше нос!...»

Натура Бориса поражала странной двойственностью. Он постоянно тосковал о доблестной армейской службе, но в то же время, потрудившись официантом, вполне усвоил соответственные идеалы. Хотя никогда не умел накопить даже тысячи франков, свято верил в возможность завести собственный ресторан и разбогатеть. Все официанты, как я потом обнаружил, так думают и говорят, это их примиряет со своим лакейским положением. Борис охотно, ярко рассказывал о работе в отелях.

«Обслуживать гостей – играть в рулетку, – повторял он. – Можешь умереть нищим, можешь за год сколотить капитал. Жалование тебе не платят, только на чаевых – десять процентов к счету да еще пробки сдашь, комиссионные возьмешь с винных компаний. Места есть, где такие чаевые! Бармен в «Максиме», например, за смену имеет пятьсот франков. А в сезон так и больше... Я сам, бывали дни, по двести набирал – это в Биаррице, в

самый разгар. Все там тогда, от менеджера до последнего плонжера, вертелись двадцать часов в сутки; месяц подряд двадцать часов носишься, часика три поспишь и снова. Так ведь уж стоило того – две сотни в день...

...Не знаешь никогда, откуда вдруг удача тебе блеснет. Вот как-то, я тогда работал в «Руайаль», один американец перед ужином зовет, велит подать пару дюжин коктейлей с бренди. Я ему на подносе приношу все двадцать четыре стакана. «А ну, гарсон, – говорит мне клиент (пьяный в дым), – я сейчас пью дюжину и ты дюжину, и если сразу выпьешь, а потом дойдешь до двери, получишь от меня сто франков». Я дошел – он дал сотню. И неделю каждый вечер я тот же фортель исполнял: дюжина коктейлей в глотку, сто франков в руку. Потом, к зиме уже, слух прошел, будто моего клиента под суд за океан отправили – растратчик. Что-то в них все-таки есть милое, в этих американцах, разве нет?

Борис мне нравился, и мы прекрасно проводили время, играя в шахматы, беседуя о героизме и чаевых. Борис советовал мне пойти в официанты. «Поживешь наконец по-человечески, – уговаривал он. – Когда имеешь место, сотню в день и симпатичную подружку, так очень славно. К писательству, говоришь, тянет? Сочинять это трепотня. Писателю один путь в люди выйти – жениться на дочке издателя. А вот официант из тебя получился бы отменный, только усы сбрить. У тебя главное, что нужно официанту, – ростом высок и по-английски говоришь. Лишь бы вот чертова моя нога стала сгибаться! Ты, *mon ami*, если совсем прижмет, сразу ко мне – устрою запросто».

Не представляя, чем буду питаться, чем платить за жилье, я вспомнил приглашение Бориса и решил навестить его немедленно. Вряд ли меня так просто, как он обещал, возьмут официантом, но мыть посуду я наверное сгложусь, эту работу он, конечно, раздобудет. Летом, говорил мне Борис, найти место плонжера – только спросить. Было великим облегчением вспомнить, что есть хотя бы один дельный друг, способный оказать покровительство.

Незадолго до этого Борис прислал записку, где значился его адрес на улице Марше де Блан Манто. Лаконичный текст извещал лишь о том, что «все более-менее нормально» – следовало полагать, мой приятель снова в «Отеле Скриб», вновь ежедневно набирает свои сто франков. Воспрянув духом и кляня себя за глупость, я недоумевал, почему раньше не сообразил пойти к Борису. Мне уже виделся уютный ресторан с румяными поварами, жарящими шипящие омлеты под веселые песенки о любви, уже представлялись роскошные пятиразовые трапезы. Я даже промотал два с половиной франка на пачку сигарет «Голуаз» в предвкушении скорого благоденствия.

Утром я разыскал улицу Марше де Блан Манто, с некоторым шоком обнаружив, что это трущоба вроде моей. Гостиница Бориса была крошечнейшей местной дырой. Из тьмы подъезда несло мерзкой кислятиной, смесью помоев и порошкового супа – известного «Бульона Зип», двадцать пять сантимов пакетик. Сердце слегка екнуло: употребляющие «Бульон Зип» либо голодают, либо на грани голода. Возможно ли, что у Бориса сто франков в день? Сидевший у входа хозяин хмуро ответил мне, что русский дома, «на самый верх». По узкой винтовой лестнице я полез на шестой этаж, с каждым пролетом запах «Бульона Зип» крепчал. Борис не отозвался на мой стук, я толкнул дверь и вошел.

Чердачная комнатуха метров девять, свет через тусклое оконце в потолке, меблировка – железная койка без тюфяка, стул, кособокий умывальник. Длинная цепь клопов плавным зигзагом медленно струилась по стене над постелью. Борис спал, живот круглым высоким холмом вздымал грязную простыню, голая грудь пестрела укусами насекомых. При моем появлении он проснулся, протер глаза и глухо застонал:

– Черт бы его! Ох, черт, спина проклятая! Ей-богу, напрочь спина переломана!

– Что случилось? – кинулся я.

– Да спина вдребезги, вот что! На полу валялся всю ночь. Ох, дьявол, боль в спине – тебе не передать!

– Борис, мой дорогой, ты заболел?

– Не заболел, только оголодал до смерти – сдохну с голода, если вот так и дальше. Мало того что на полу спи, я которую неделю с двумя франками в день. Кошмар! В тяжкую пору застал ты меня, *mon ami*.

Не стоило, пожалуй, спрашивать, продолжалась ли служба Бориса в «Отеле Скриб». Я сбегал вниз и купил ему хлеба. Борис набросился на хлеб, съел полбуханки, почувствовал себя гораздо лучше и, сев в постели, рассказал, что с ним случилось. После выхода из больницы на работу его не взяли, так как он еще сильно хромал, все свои деньги он истратил, все вещи заложил, настали дни, когда он голодал по-настоящему. Неделью ночевал у причала под Аустерлицким мостом, на свалке винных бочек. Последние же две недели жил в этой конуре у одного еврея, механика. Дело в том (следовало изложение каких-то путаных обстоятельств), что еврей задолжал Борису триста франков и теперь в виде расплаты пустил спать у себя на полу, а также ежедневно выдавал два франка на еду. Два франка кормили чашкой кофе с тремя рогаликами. Когда еврей в семь утра уходил, Борис покидал отведенное ему спальное место (прямо под потолочным оконным люком, откуда капал дождь) и перекладывался на кровать. Спалось и тут ужасно из-за клопов, но хоть спина немного отдыхала.

Большое было разочарование – придя за помощью, найти Бориса в ситуации еще более плачевной. Я объяснил, что у меня осталось меньше шестидесяти франков и мне необходимо срочно найти работу. Борис тем временем, доев буханку, пришел в бодрое, разговорчивое настроение. Кинул безмятежно:

– Бог мой, о чем ты беспокоишься? Шестьдесят франков – состояние! Будь добр, подай-ка мне ботинок, *mon ami*. Я собираюсь уничтожить передовые части клопов, едва мерзавцы войдут в пределы досягаемости.

– Но ты считаешь, возможно найти какую-то работу?

– Возможно? Никаких сомнений. На самом деле, у меня уже есть кое-что. Есть новый русский ресторан на улице Коммерс – вот-вот откроется. И *une chose entendue*^[24], что я там буду метрдотелем. Тебя на кухне пристрою запросто. Пять сотен в месяц плюс питание, иной раз даже чаевые.

– А пока? Скоро мне опять платить за комнату.

– О, что-нибудь найдем! У меня на руках уйма козырей. Например, люди, которым я давал в долг, – в Париже таких полно, кто-нибудь непременно вскоре отдаст. И ты подумай обо всех тех дамах, которые меня любили! Женщины, знаешь, никогда не забывают; только шепни – мгновенно выручат. Кроме того, еврей мой говорит, что собирается украсть какие-то магнето из гаража и будет платить по пятерке в день, чтобы их чистили перед продажей. Уже на этом сможем продержаться. Ты не волнуйся, *mon ami*. Деньги достать проще простого.

– Ну так пошли сейчас и найдем место.

– Сейчас, *mon ami*. Без куска не останемся, не бойся. Дело обычное,

капризы солдатской фортуны – сотни раз я бывал в переделках и похуже. Главное, не тушуйся, помни правило Фоша: *Attaquez! Attaquez! Attaquez!*^[25].

К полудню Борис наконец решился встать. Весь его нынешний гардероб составляли один костюм, одна сорочка, воротничок, галстук, пара почти сносившихся ботинок и пара драных носков. Еще имелось пальто, отложенное для заклада на случай самой последней крайности. Имелся также чемодан, истертая дешевая картонка, но вещь необычайно важная, создававшая у хозяина гостиницы впечатление некоего имущества, без чего Борис, вероятно, был бы выгнан на улицу. Истинным содержимым чемодана являлись фотографии, медали, различный мелкий хлам и кипы любовных писем. Несмотря ни на что Борису удавалось сохранять вид достаточно импозантный. Побрившись без мыла старым, двухмесячного срока лезвием, он завязал галстук, тщательно следя за сокрытием изъянов, и аккуратно начинил ботинки стельками из газеты. Уже полностью снаряженный, достал склянку чернил и затер пятна сиявших сквозь носочные дыры пяток. Теперь никто бы не поверил, что этот человек недавно спал под мостами.

Мы пошли в неприметное, но хорошо известное всем нанимателям и работникам отелей кафе на улице Риволи. В пещере темной задней комнаты сидели профессионалы гостинично-ресторанного дела: молодые лощеные официанты, официанты не столь лощеные и явно голодающие, толстые розовые повара, затрапезные судомойки, измочаленные старухи уборщицы. Перед каждым нетронутый стакан черного кофе. В сущности, это было бюро по найму, и плата за напитки играла роль процента за посредничество. Время от времени у стойки бара появлялись солидные важные господа, видимо рестораторы, что-то говорившие бармену, который затем вызывал кого-нибудь из задней комнаты. На нас с Борисом он в течение двух часов внимания не обратил, и мы ушли, поскольку этикетом дозволялось с одним стаканом кофе просидеть не больше двух часов. Впоследствии, с обидным опозданием, выяснилось, что надо было бы тогда подмазать бармена; не покупившимся на двадцать франков место обычно находилось.

Потопали к «Отелю Скриб»; час караулили у входа в надежде встретить управляющего, но он не вышел. Потащились на улицу Коммерс, где удалось только обогатиться сведениями: недостроенный ресторан закрыт, патрон в отъезде. Настала ночь. Отшагав по каменным тротуарам четырнадцать километров, мы так устали, что пришлось полтора франка истратить на метро. Ходьба замучила хромавшего Бориса, его надежды с угасанием дня стремительно тускнели. К моменту выхода на станции

«Пляс Итали» он впал во мрак. Стал говорить, что место искать бесполезно и все что остается – криминал:

– Лучше грабить, чем голодать, *top amì*. Я уж про это часто думал, прикидывал: жирный богач американец – темный закоулок под Монпарнасом – булыжник в чулке – трах! – карманы обшарить, мигом скрыться. Вполне реально, разве нет? Лично я бы не дрогнул – войну отвоевал, не забывай.

Преступный план Борис в итоге все-таки отверг, поскольку нас, парочку иностранцев, легко выследить.

По прибытии ко мне в номер еще полтора франка были истрачены на хлеб и шоколад. Проглотив свою долю, Борис мгновенно, будто по волшебству, утешился (еда, видимо, действовала на его организм с силой крепчайшего коктейля). Взял карандаш и принялся составлять список тех, кто наверняка даст нам работу:

– Завтра найдем что-нибудь, *top amì*, я носом чую. Фортуна улыбнется. Да и мозги у нас обоих в порядке – человек с мозгами голодным не останется.

На что способен человек с мозгами! Мозги из ничего добудут деньги. Вот у меня был друг, поляк, истинный гений, и что ж, ты думаешь, он делал? Покупал простенькое золотое колечко и закладывал за пятнадцать франков. Потом – знаешь ведь, как небрежно в конторах квитанции заполняют? – где клерк поставил *en or*^[26], он приписывал *et diamants*^[27], где было «пятнадцать франков», исправлял на «пятнадцать тысяч». Ловко, а? И тут же, как ты понимаешь, свободно мог под эту свою квитанцию занять тыщонку. Так что вот пораскинул я мозгами...

До поздней ночи Борис сиял уверенной надеждой, рассказывал, как мы с ним станем официантами в Ницце или Биаррице, как заживем в шикарных комнатах и, набив кошельки, заведем себе подружек. Слишком уставший чтобы еще километра три пешком шагать к себе в гостиницу, ночевать он остался у меня на полу, подушкой послужили ботинки со свернутым поверх них пиджаком.

Работа и назавтра не нашлась, и еще три недели фортуна хмурилась. Двухсотфранковый гонорар спас меня от квартирной катастрофы, но все прочее складывалось хуже некуда. День за днем мы с Борисом дрейфовали сквозь толпы парижан со скоростью двух миль в час, шлялись туда-сюда уныло, голодно и абсолютно безрезультатно. В один день, помнится, двенадцать раз пересекали Сену. Часами слонялись возле служебных входов; дождавшись начальника, подходили с искательной улыбкой, заранее сняв шляпу. Ответ следовал неизменный: ни в хромы, ни в неопытных не нуждались. Как-то нас чуть было не наняли. Поскольку Борис говорил, выпрямившись и спрятав палку за спиной, начальник не заметил больной ноги. «Да, – кивнул он, – нужны двое на склад. Пожалуй, подойдете, заходите». Но едва Борис сделал шаг, фиаско: «А-а, вы хромаете, – *malheureusement...* [28]».

Мы регистрировались в агентствах, шли по любому объявлению, но бесконечная ходьба лишала расторопности, и мы, казалось, всюду на полчаса опаздывали. Был случай, нас почти уже приняли мыть вагоны, но в последний момент предпочли отдать места французам. Однажды встретилось объявление, что цирку требуются рабочие с обязанностями двигать скамейки, убирать мусор и во время представления становиться ногами на две тумбы, чтобы под этой живой аркой бегал лев. Придя за час до обозначенного времени, мы нашли очередь из полусотни соискателей. Львам, очевидно, присущ особый магнетизм.

Бюро, где я давным-давно стал на учет, прислало *petit bleu* [29], сообщив о желании некоего господина из Италии брать уроки английского. В *petit bleu* значилось «срочно» и предлагалось двадцать франков в час. Нас с Борисом охватило смятение. Вот он, отличный шанс, и ускользает – нельзя же явиться к ученику в пиджаке с драными локтями. Потом нас осенило, что достаточно благопристойен пиджак Бориса; брюки от моего костюма, правда, не подходили, но они были серыми, а потому могли сойти за якобы фланелевые. Пиджак, огромный, пришлось надеть небрежно, нараспашку и все время держать руку в кармане. Я торопливо выбежал, не пожалел семьдесят пять сантимов на автобус. В бюро, однако, ждало известие о том, что господин передумал и покинул Париж.

Борис мне рекомендовал сходить на Центральный рынок, попробовать наняться грузчиком. Я пришел в половине пятого утра, когда заваривалась

самая работа, высмотрел бригадира, низенького толстяка в котелке, и направился к нему. Прежде чем дать ответ, тот быстро схватил мою руку и ощупал ладонь:

– А ты как, сильный?

– Очень, – лживо уверил я.

– *Bien*^[30]. Покажи себя, ну подыми-ка эту штуку.

Рядом стояла колоссальная корзина с картофелем. Я ухватился за нее и понял, что не только поднять, даже сдвинуть ее не в состоянии. Толстяк пожал плечами и отвернулся. Я пошел прочь. Минутой позже искоса оглянулся: грузчики поднимали эту корзину на телегу **вчетвером**. Весила она центнера полтора. Бригадир сразу понял, что я не гожусь, и нашел способ меня спровадить.

Подчас, в очередном приливе светлых надежд, Борис тратил пятьдесят сантимов на марку и отправлял какой-нибудь из бывших возлюбленных письмо с просьбой о помощи. Ответила наконец лишь одна. Та, что когда-то кроме пылких ласк получила еще двести франков в долг. От ожидавшего внизу конверта со знакомым почерком Борис восторженно обезумел. Схватив письмо, мы полетели к нему на чердак, как дети с краденными леденцами. Борис прочел и молча передал листок мне. Послание гласило:

«Мой Обожаемый и Драгоценный Зверик! Как изумительно было раскрыть Твое письмо, строки которого напомнили дни нашей дивной любви и поцелуи Твоих горячих губ. Эти чудесные воспоминания волнуют сердце, словно бы аромат засушенных нежных фиалок. А про те двести франков, что Ты пишешь, о нет! никак. О мой Единственный, Ты не познаешь, какая боль во всей моей душе от Твоих затруднений! Но чего ж ожидать человеку? В этом мире для каждого присуждены страдания. И мне судьба тоже ужасно жестокая. Сестричка заболела (ах, бедняжка, как она мучилась!), на докторов ушло кошмар сколько. Ни франка не осталось, клянусь Тебе, у нас самих сейчас до крайности трудные времена. Не унывай, мой Зверик, главное – не унывать! Помни, что страшные черные тучи когда-нибудь уходят и потом к нам опять сияют лучи зари. Верь, Драгоценный мой, я не забуду Тебя навек. И прими бесконечных поцелуев от той, которая будет вечно любить Тебя до гроба, Твоя Ивонн».

Письмо настолько разочаровало Бориса, что он улегся на кровать и отказался в тот день ходить искать работу. Моих шестидесяти франков хватило кое-как протянуть пару недель. Фальшивые уходы в ресторан я прекратил, мы ели у меня в номере, устраиваясь один на стуле, другой на краешке кровати. Борис сдавал в общую кассу свои два франка, я добавлял три-четыре – покупались хлеб, сыр, картошка, молоко и над спиртовкой

варился суп. Поскольку из посуды были лишь кастрюлька да чайная чашка, то каждый раз завязывался любезный спор, кому есть из кастрюльки (порция больше), кому из чашки, и всякий раз, к моему тайному негодованию, Борис первым сдавался на кастрюльку. Иногда вечером мы еще ели хлеб, а иногда не ели. Белье делалось все грязнее и противней, и уже три недели прошло с тех пор, когда я принимал ванну; Борис же, по его словам, в ванне не мылся месяцами. Примирял с такой жизнью лишь табак. Курева у нас имелось вволю, так как Борис успел где-то свести знакомство с одним солдатом (рядовых в армии бесплатно снабжают сигаретами) и закупил у него пачек тридцать по полфранка.

Борису в нашей ситуации жилось гораздо хуже, чем мне. Пешие марши и ночевки на полу покоя не давали его больной ноге, и со своим гигантским русским аппетитом он сильнее терзался голодом, хотя внешне вроде нисколько не худел. А вообще поражал веселым нравом и талантом бесконечно надеяться. Всерьез уверял, что у него есть собственный святой покровитель, и порой, когда приходилось совсем туго, высматривал в канавах деньги, говоря об обычае святого милосердно подбрасывать двухфранковые монеты. Однажды мы томились на улице Руайяль, возле русского ресторана, где хотели просить работу. Вдруг Борис решил срочно зайти в Церковь Мадлен, поставить там полфранковую свечку его святому покровителю. Вернувшись, сообщил, что для страховки торжественно возложил почтовую марку (тоже за пятьдесят сантимов) как жертвоприношение всем бессмертным богам. Должно быть, боги и святые не ладили между собой; во всяком случае, работу мы тогда упустили.

Иногда утром Борис просыпался на дне отчаяния. Лежал в кровати, чуть не плача, проклиная еврея, у которого жил. Еврей последнее время начал капризничать насчет выдачи ежедневных двух франков и, того хуже, напустил на себя важный, снисходительный вид. Борис говорил, что мне, англичанину, не понять, сколь мучительно русскому благородному человеку оказаться под еврейской пятой.

«Еврей, *мон ами*, – философски определял он, – это истинный еврей! Даже порядочности ему не хватает стыдиться этого. Подумать только, что российский офицер – не помню, говорил ли я тебе, *мон ами*, что служил капитаном во Втором сибирском? Да, капитаном, а отец-то полковником был. И вот я, куском хлеба обязанный еврею. Евреи это...

Вот я тебе расскажу, кто это. Как-то в начале войны шли мы маршем, остановились на ночлег в одной деревне. Жуткий старый еврей, борода рыжая как у Иуды, прокрался в мое помещение для постоя. Спрашиваю, чего ему надо. «Ваша честь, – говорит он, – я привел вам красивую юную

девушку, только семнадцать исполнилось. И будет все лишь пятьдесят франков». – «Спасибо, – отвечаю, – не хватало мне еще подхватить заразу». – «Заразу! – кричит еврей, – *mais, monsieur le capitaine*^[31], об этом можете не беспокоиться, это же моя собственная дочь!». Вот тебе еврейский характер^[32].

Рассказывал я уже тебе, *mon ami*, что в царской армии считалось дурным тоном даже плевать в еврея? Нечего, мол, на него тратить слюну русского офицера. Да, эти евреи...»

В подобном настроении Борис обычно чувствовал себя совершенно больным и разбитым. До вечера лежал в замызганных, кишящих паразитами простынях, курил и читал старые газеты. Иногда мы играли в шахматы. Доски не было, ходы мы записывали на обрывке бумаги, позже сами сделали доску из фанерки от ящика, вместо фигур использовали пуговицы, бельгийские монеты и прочую дребедень. К шахматам Борис относился с характерной для многих русских страстью. Все приговаривал, что шахматные правила в точности соответствуют правилам боев любовных и военных и, научившись побеждать в одном виде сражений, непременно будешь выходить победителем во всех других. Еще он говорил, что над шахматной доской совершенно забываешь о голоде, однако в моем случае это явно не подтвердилось.

Деньги мои быстро таяли – до восьми франков, четырех, одного, до двадцати пяти сантимов, а двадцать пять сантимов уже не деньги, ничего на них не купишь кроме газеты. Несколько дней мы ели хлеб всухомятку, потом на двое с лишним суток я остался без единой крошки во рту. Опыт не из приятных. Люди, здоровья ради голодающие по три недели и больше, уверяют, что начинаешь великолепно себя чувствовать с четвертого дня, – не знаю, никогда не заходил далее третьего. Наверное все ощущается иначе, когда бросаешь есть по доброй воле и с постепенной тренировкой.

В первый день я, чересчур вялый для поисков работы, занял удочку и пошел к Сене рыбачить на приманку из дохлых мух. В Сене много плотвы, но рыба за время блокады Парижа набралась хитрости, и ни одну с тех пор не выловишь, разве что сетью. На второй день я хотел заложить пальто, но показалось слишком далеко пешком тащиться до ломбарда, и я лениво провалялся, читая «Записки Шерлока Холмса». Единственное, к чему был способен, голодая. Голод вызывает абсолютное размягчение тела и мозгов, больше всего похоже на дикую слабость после гриппа. Как будто сделался медузой или кровь тебе, выкачав, заменили тепленькой водичкой. Главное в моих впечатлениях от голодания это полнейшая апатия; это и еще постоянно сплевываешь, причем слюна необычайно белая, пушистая, вроде хлопьев кукушкина льна. Причины такого симптома мне неизвестны, но любой голодавший наблюдение подтвердит.

На третье утро я вскочил бодро, почувствовав необходимость экстренных действий, и решил пойти к Борису, попроситься хотя бы день-другой делить с ним его двухфранковый паек. Придя, застал Бориса на кровати, в приступе бешеного гнева. Лишь я вошел, он крикнул, задыхаясь:

– Стащил обратно их, мерзавец! Он обратно стащил их!

– Кто? Кого?

– Еврей! Мои два франка украл, собачий сын, ворюга! Ограбил дочиста, пока я спал!

Как выяснилось, накануне ночью еврей категорически впредь отказался от выплат ежедневного пособия. Они спорили-спорили, в итоге еврей все-таки согласился дать два франка, сделав это, сказал Борис, наигнуснейшим образом – прочтя нотацию о своих милостях и вымогая униженную благодарность. А под утро, пользуясь мирным сном Бориса, потихоньку забрал деньги.

Вот так удар! Зря я, конечно, размечтался, обнадежил брюхо (грубейшая ошибка, когда ты голоден). Однако, слегка меня удивив, Борис в отчаяние отнюдь не впал. Облокотившись на подушку, он зажег трубку и начал сосредоточенно размышлять вслух:

– Так, *mon ami*, положение критическое. У нас на пару двадцать пять сантимов, и, думается мне, еврей вряд ли еще когда-нибудь мне выдаст мои два франка. И вообще он становится невыносимым. Ты не согласишься, негодяй так обнаглел, что вчера ночью женщину привел, когда я спал тут на полу. Скотина подлая! Но есть новость похуже: еврей нацелился сбежать. За гостиницу он уже неделю не платил – вздумал разом и деньги сэкономить и от меня скрыться. Если еврей смоется, я останусь без жилья, а патрон, черт его дери, в счет долга конфискует мой чемодан! Нам надо действовать решительно.

– Хорошо. Только что мы можем? По-моему, нам остается лишь заложить наши пальто и что-нибудь поесть.

– Это да, обязательно, но для начала я должен вытащить отсюда свое имущество. Подумать страшно – заберут мои фотографии! Ну, план готов. Мне надо опередить еврея, смывшись раньше него. *Foutre le camp*^[33] – внезапное хитрое отступление, понимаешь ли. Хорош маневр?

– Борис, мой дорогой, но каким образом? Тебя же днем сразу поймают.

– Ну так, стратегию конечно надо выстроить. Патрон тут караулит ненадежных жильцов, уже ученый. Они с женой целыми днями по очереди внизу стерегут – ох и скупердяи эти французы! Я, однако, придумал способ со всем справиться, если ты поучаствуешь.

Не ощутив себя в тот миг настроенным как-то особенно участливо, я спросил о конкретном содержании плана. Борис подробно изложил:

– Слушай. Прежде всего необходимо заложить наши пальто. Сходи к себе, возьми свое пальто, потом вернись и вынеси мое, упрятав под своим. Сдай их в ломбард на улице Франк Буржуа – двадцатку, если повезет, дадут. Затем спустись к Сене, набей карманы камнями, принесешь – сложишь в мой чемодан. Угадываешь мысль? А я тем временем заверну в газету побольше моих вещей, спущусь и спрошу у патрона адрес ближайшей прачечной. Заговорю таким, знаешь, развязным, небрежным тоном, что патрон мне поверит насчет похода к прачке. Если что и заподозрит, сделает как всегда, грошовая душонка: влезет сюда, попробует мой чемодан на вес. Учует тяжесть – будет думать, что добра много. Стратегия, а? Я потом вернусь, все остальное вынесу просто в карманах.

– Так, а чемодан?

– А-а, это? Что ж, бросить придется. Ерунда, дешевка, стоил-то всего

двадцать франков. И вообще, что-нибудь уж всегда оставляешь при отступлении. Ты вспомни о Наполеоне – бросил под Березиной целую армию!

Борис так воодушевился этим проектом (именовавшемся у него *une ruse de guerre*^[34]), что забыл про терзавший его голод. Главный дефект плана – втихую смывшись, негде будет голову приклонить, – он игнорировал. *Ruse de guerre* вначале сработала отлично. Я сходил домой, взял свое пальто (прогулка в девять километров на пустой изголодавшийся желудок) и сумел вынести тайком пальто Бориса. Затем возник барьер. В ломбарде служащий, злобный, с брезгливой миной, настырный коротышка – типичный французский чиновник, отверг наши пальто под тем предлогом, что вещи не упакованы. Положено, заявил он, вещи сдавать в чемоданах или коробках. Все рушилось, ибо никакой тары мы не имели, а на последние двадцать пять сантимов даже коробку было не купить. Вернувшись, я сообщил дурную весть.

– *Merde!* – чертыхнулся Борис. – Положение усложнилось! Ну ладно, выход-то всегда найдется. Сложим пальто в мой чемодан.

– Но как мы чемодан твой пронесем мимо патрона? Он даже в закуток свой не уходит, сидит всегда возле открытой двери. Нет, невозможно!

– Нет? Легко же ты сдаешься, *mon ami!* А где хваленое британское упорство, о котором мне доводилось читать? Смелей! Прорвемся.

Недолго поразмышляв, Борис представил план новой операции. Сложнейшей ее составной задачей было отвлечь внимание патрона секунд на пять, чтобы хватило проскользнуть с чемоданом, но у патрона имелась только одна слабость – *le Sport*, беседа о котором могла бы притупить его бдительность. Борис изучил репортаж о велосипедных гонках в каком-то старом номере «Пти паризьен», потом, разведав обстановку на лестнице, спустился и все-таки смог заставить патрона разговориться. Я, между тем, стоял в готовности на нижнем лестничном марше, держа под мышкой оба пальто и другой рукой обхватив чемодан. Был уговор, что Борис кашляет в момент, по его мнению благоприятный. Ждал я, дрожа, ведь каждую секунду из дверей напротив места портье могла выйти жена хозяина и тогда полный крах. Однако вскоре Борис кашлянул – я пулей пронесся мимо, радостно возблагодарив свои не скрипнувшие башмаки. План, может быть, и не удался бы, не обладай Борис мощными богатырскими плечами, перекрывшими обзор со сторожевого поста. Блестяще также проявилась его выдержка; смеясь, он болтал самым беспечным образом и так громко, что заглушал любой мой преступный шорох. Наконец-то я очутился на безопасном расстоянии от подъезда, Борис вскоре нагнал меня и мы

удрали.

И вот, после всех этих наших подвигов, оценщик в ломбарде вновь отказался принять пальто. Он объявил мне – откровенно упиваясь чисто французским своим педантизмом, – что *carte d'identite*^[35] недостаточно: я должен предъявить паспорт или же адресованные мне конверты. Пачки таких конвертов имел Борис, но у него с *carte d'identie* был непорядок (требовавшее уплаты за перерегистрацию, удостоверение не продлевалось), так что нельзя было оформить залог и на его имя. Нам ничего не оставалось, как поплестись, едва волоча ноги, ко мне, чтобы, взяв нужный документ, пойти закладывать пальто в ломбард на бульваре Порт Руайяль.

Оставив Бориса в номере, я направился туда. Придя, узнал, что заведение закрыто и не откроется до четырех. Было лишь полвторого, я с утра отшагал уже двенадцать километров, проголодав уже шестьдесят часов. Казалось, судьба решила позабавиться серией чрезвычайно неостроумных шуток.

Затем счастье словно по волшебству переменилось. Я брел обратно улицей Брока – вдруг на булыжнике сверкнула монетка в пять су. Кинувшись на добычу, я с трофеем побежал к дому, схватил последнюю нашу, такую же монету и купил фунт картофеля. Горючего в спиртовке хватило лишь слегка обварить клубни и соли не было, но мы сожрали картошку мигом, с кожурой. После чего возродились к жизни и сели играть в шахматы, дожидаясь открытия ломбарда.

В четыре я стоял возле ломбардного прилавка. Особых надежд не питал: если мне здесь за целый ворох прекрасных добротных вещей дали семьдесят франков, на что рассчитывать за два старых пальто в картонном чемодане? Борис надеялся на двадцать франков, я на десять, а то и пять. А могли вовсе меня забраковать, как беднягу *Numero 83*. Уселся я в первом ряду – не хотелось видеть усмешки и ухмылки, когда мне назначат пять франков.

Наконец выкликнули: «*Numero 117!*»

– Да, – встал я.

– Пятьдесят франков?

Шок был почти таким же, как тогда, впервые, когда я услышал «семьдесят». До сих пор уверен, что клерк попросту перепутал номера – даже продать оба наши пальто за пятьдесят франков было немыслимо. Поспешно удалившись, я появился на пороге комнаты, руки за спиной, на губах ни слова. Борис сидел за шахматной доской, глаза его нетерпеливо вскинулись:

– Ну? Сколько дали? Меньше двадцати? Но десять-то уж дали? *Nom de*

Dieu^[36], пять – это наповал. Нет, *mon ami*, **не говори**, что пять. Если ты скажешь, что дали пять, ей-богу, всерьез начну выбирать, где утопиться!

Я бросил на стол полусотенную бумажку. Борис сделался белым как мел, потом вскочил и стиснул мою руку, едва не раздавив ее. Мы побежали, накупили хлеба, мяса, вина и спирта для спиртовки, и устроили настоящее обжорство. Сытый Борис преисполнился таким оптимизмом, какого мне еще не доводилось в нем наблюдать.

– Ну что я тебе говорил? Капризы солдатской фортуны! Утром с пятью су, а теперь взгляните-ка на нас. Я всегда утверждал – деньги достать проще простого. И это заставляет вспомнить об одном друге с улицы Фондари, которого пора бы навестить, – вытянул у меня, мошенник, четыре тысячи. Величайший прохиндей в трезвом состоянии, но – любопытная игра природы – становится кристально честным, когда напьется. Пойдем разыщем его. Очень может быть, что пару сотен и вернет. *Merde!* Двести уж пускай отдаст, *allons-y!*^[37]

Мы отправились на улицу Фондари и приятеля разыскали, и он был пьян, но двести франков мы не получили. Едва они с Борисом встретились, посреди мостовой началась жуткая перебранка. Приятель заявил, что он не должен Борису ни гроша, напротив – Борис ему должен четыре тысячи, и оба беспрестанно взывали ко мне как арбитру. Сути их спора я так и не уловил. Они ругались и ругались, сначала на улице, потом в бистро, потом в ресторане *prix fixe*^[38], куда мы заходили ужинать, потом в другом бистро. В конце концов, два часа обвинявшие друг друга в воровстве, приятели дружно загуляли, пропив деньги Бориса подчистую.

Ночевал Борис в квартале Коммерс у сапожника, тоже русского эмигранта. Что касается меня, то в моем кармане еще оставалось восемь франков, я был накормлен и напоен до отвала, располагал надежным запасом курева – действительно волшебное преображение после пары нерадостных деньков.

С двадцатью восемью франками в руках можно было возобновить наши попытки найти работу (двадцать франков Борис, на непонятных условиях остававшийся под кровом сапожника, сумел занять у этого русского друга). Друзей, по преимуществу таких же бывших офицеров, Борис имел множество и повсюду. Одни служили официантами или мыли посуду, другие водили такси, кое-кого кормили женщины, кому-то повезло вывезти из России деньги и сделаться владельцем гаража или танцзала. Вообще, русские беженцы в Париже – народ выносливый, крепкий в работе, терпевший злоключения гораздо лучше, нежели это удалось бы англичанам тех же сословий. Были, конечно, исключения. Борис рассказывал об одном русском князе, который часто пробавлялся в дорогих ресторанах. Разузнавал, служит ли в зале кто-нибудь из русских офицеров и, пообедав, дружески подзывал того к столу.

– А! – начинал князь. – Оба мы, стало быть, старые вояки? Плохи теперешние времена? Ничего, ничего, русский солдат страха не знает. Какого полка?

– Такого-то, сударь, – отвечал официант.

– Храбрый, доблестный полк! Помню, смотр ему делал в 1912 году. Да, между прочим, неприятность – бумажник я оставил дома. Русский офицер, знаю, в беде не бросит, выручит франков на триста.

Имевший триста франков официант деньги давал и, разумеется, навек терял. Князь весьма бойко таким манером зарабатывал. И вероятно, официанты не особенно возражали быть им обманутыми. Князь есть князь, хоть и в изгнании.

От кого-то из соотечественников Борис услышал про выгодное дельце. Дня через два после того как были сданы в ломбард наши пальто, он довольно таинственно спросил:

– Скажи, *mon ami*, есть у тебя политические убеждения?

– Нет, – ответил я.

– У меня тоже никаких. То есть, конечно, вечная верность отечеству, но остальное все – ...! А что это там Моисеем говорилось насчет поживы от египтян? Ты англичанин и библию наверняка читал. Я что хочу сказать – ты бы не прочь слегка подзаработать от коммунистов?

– Разумеется, не прочь.

– Ладно! В Париже действует подпольное русское общество, от

которого, может, будет для нас толк. Они там коммунисты, и как бы сами по себе, а на самом деле большевистская агентура: обхаживают эмигрантов, сманивают к большевикам. Мой друг, вступивший в это общество, думает, что и нам с тобой там помогли бы кое-чем.

– Но чем же? Мне, во всяком случае, ничем, я ведь не русский.

– То-то и оно. Они вроде корреспонденты каких-то московских газет и хотят статьи про политику Англии. Появимся у них сейчас, так могут заказать эти статейки тебе.

– Мне? Но я ничего не смыслю в политике.

– *Merde!* Они тоже. Кто ж **действительно** что-либо смыслит в политике? Проще простого – перепишешь из английских газет. Нет ли парижских выпусков «Дейли Мейл»? Спиши оттуда.

– Но «Дейли Мейл» газета консерваторов, ненавидящих коммунистов.

– Ну, списывай из «Дейли Мейл» наоборот, тогда уж точно не ошибешься. Нельзя нам, *top ami*, упустить этот шанс, тут светят сотни франков.

Идея мне совершенно не понравилась – парижская полиция строго следит за коммунистами, особенно сурово за иностранцами, а я уже вызывал недоверие. Несколько месяцев назад шпик заметил меня в дверях коммунистической редакции, и было довольно много проблем. Поймают еще на визитах в тайное общество – может кончиться высылкой. Шанс, однако, виделся слишком соблазнительным чтобы им пренебречь. В тот же день друг Бориса, очередной официант, повел нас на секретное randevu. Названия улицы не помню – какая-то бедная улочка к югу от Сены, где-то возле Палаты депутатов. Друг Бориса призывал к величайшей осторожности. Мы с видом случайных фланеров прошли по улице, отметив для себя подъезд, куда нам предстояло войти (там была прачечная), а затем прогулялись обратно, внимательно водя глазами по стеклам окон и витрин. Если пристанище коммунистов уже стало известно, его наверняка держали под наблюдением, и мы ушли бы, увидав кого-то похожего на шпика. Мне было страшно, но Борису приключения заговорщиков нравились; как-то совсем позабылось, что идет он торговаться с убийцами своих родителей.

Уверившись, что вокруг чисто, мы юркнули в подъезд. Гладившая белье прачка-француженка сказала, что к «русскому господину» через двор, затем вверх по лестнице. Мы одолели несколько маршей и остановились – перед нами высился угрюмый молодой человек с шевелюрой, растущей чуть не от бровей. Подозрительно глядя на меня, он жестом загородил дорогу и обратился ко мне по-русски.

– *Mot d'ordre!*^[39] – рявкнул он, не дождавшись ответа.

Я испуганно замер. Паролей я не ожидал.

– *Mot d'ordre!* – повторил русский.

Шедший позади друг Бориса вышел вперед и что-то сказал: назвал пароль или дал объяснение. Это, надо полагать, удовлетворило мрачного молодого человека, так как он проводил нас в комнатуху с замазанными мелом окнами. Обстановка убогой конторы, по стенам плакаты русским шрифтом, громадный аляповатый портрет Ленина. За столом сидел русский, небритый и без пиджака, – надписывал адреса на бандеролях наваленных рядом газет. Со мной он заговорил по-французски, с сильным акцентом.

– Крайнее легкомыслие! – раздраженно воскликнул он. – Почему вы явились без белья?

– Без белья?

– Все, кто приходят к нам, идут с бельем, будто бы в прачечную здесь внизу. Следующий раз имейте при себе большой узел. Недопустимо наводить на след полицию.

Стиль оказался даже более конспиративным, чем я предполагал. Борис уселся на единственный свободный стул, и пошли долгие переговоры по-русски. Вел диалог только небритый, а привалившийся спиной к стене угрюмый, не отказавшись, видимо, от своих подозрений, молча сверлил меня глазами. Было так странно – находиться в потайной комнатке с революционными плакатами, слушать чужие, совершенно непонятные слова. Русские говорили быстро и страстно, то улыбаясь, то пожимая плечами. А я раздумывал, о чем же они. Вероятно, называют друг друга «батенькой», «голубчиком» или «Иваном Александровичем», как персонажи русских романов. И обсуждают революционность; небритый, наверно, заявляет: «Мы никогда не спорим, диспуты – игры буржуазии! Наши аргументы – дела!». Потом я выяснил, что речь шла не совсем об этом. Требовалось двадцать франков вступительного взноса, и Борис обещал (всего франков у нас имелось лишь семнадцать). В конце концов, потрянув наш драгоценный финансовый запас, Борис авансом заплатил пять.

Угрюмый, явно подобрев, присел на край стола. Небритый начал по-французски меня опрашивать, делая на листке пометки: «Являетесь ли коммунистом?» – «Сочувствую, хотя ни в каких партиях никогда не состоял». – «Знаете ли политический климат в Англии?» – «О, конечно, конечно!». Я упомянул разных министров, обронил несколько презрительных замечаний о лейбористах. «А как насчет *le Sport*? Сможете ли давать статьи о *le Sport*?» (Футбол и социализм как-то таинственно

связаны на континенте). – «О да, еще бы!». Оба подпольщика важно кивали головами. Небритый сказал:

– *Evidemment*^[40], вам глубоко и досконально известна обстановка в Англии. Возьметесь сделать серию статей для московской воскресной газеты? Подробности мы уточним.

– Охотно.

– Тогда, товарищ, завтра ждите нашего сообщения утренней почтой. Или же днем. Ставка у нас – сто пятьдесят франков за статью. И не забудьте в следующий раз прийти с бельем. *Au revoir*^[41], товарищ!

Мы спустились по лестнице, осторожно выглянули из прачечной и, убедившись, что улица пуста, ускользнули. Борис был вне себя от радости. В экстазе ринулся к ближайшей табачной лавке, купил сигару за полфранка. Вышел, постукивая тростью, лучась улыбкой:

– Ну наконец-то! Наконец-то! Вот теперь, *mon ami*, фортуна по-настоящему нам улыбнулась. Надул ты их отменно. Слыхал, как он тебя стал называть «товарищем»? Сто пятьдесят франков за статью – *Nom de Dieu*, экая удача!»

Наутро, услышав шаги почтальона, я стремглав побежал вниз за письмом, но, увы, письма не было. Остался дома до дневной почты – снова мне ничего. Прождав три дня и не дождавшись никакой весточки, мы потеряли надежду, решив, что, вероятно, для статей нашелся другой автор.

Дней через десять нами снова был совершен визит в подпольное бюро, не забыты были и меры конспирации: узел «белья» смотрелся очень убедительно, – тайное общество испарилось! Гладильщица в прачечной не знала ничего кроме того, что *ces messieurs*^[42] съехали несколько дней назад после определенных затруднений из-за квартплаты. Какими идиотами мы там стояли с нашим узлом! Утешало, что потеряли только пять франков, не двадцать.

Больше нам никогда не приходилось слышать об этом тайном обществе. Кем, чем являлись его организаторы, неведомо. Лично я полагаю, они не имели отношения к партии коммунистов; думаю, это были просто аферисты, дурачившие русских беженцев, выжимая фиктивные членские взносы. Дело довольно безопасное, и несомненно, мошенники еще им промышляют по другим городам. Смышленные ребята, роли свои играли превосходно, контору оформили образцовой подпольной явкой, а штрих с узлами белья – гениально.

Еще три дня мы шлялись в поисках работы, возвращаясь ко все более скромным порциям супа и хлеба в моем номере. Наметилось два проблеска надежды. Во-первых, Борис услышал о вероятном месте в «Отеле Икс» около площади Конкорд, а во-вторых, вернулся наконец патрон нового русского ресторана на улице Коммерс. Мы пошли познакомиться с хозяином. В пути Борис говорил об огромных деньгах, которые мы вскоре заработаем и о важности впечатления, которое надо сейчас произвести:

– По одежке, по одежке встречают, *mon ami*. Дайте мне новый костюм – через час я займу тысячу франков. Какая жалость, что, будучи при деньгах, мы воротничок не купили. Вывернул сегодня свой наизнанку, а что толку? – с обеих сторон пакость. Голодный у меня вид, *mon ami*?

– Выглядишь бледным.

– Проклятье, будешь бледным на хлебе и картошке! Таким бледным, что всякому захочется тебя пнуть. Погоди-ка!

Перед зеркалом ювелирной витрины Борис нахлестал себя по щекам, и мы быстро, пока румянец не отхлынул, зашагали представляться патрону.

Патрон был невысоким плотным господином, очень изысканным, с волнистой сединой, в шикарном двубортном фланелевом костюме и благоухал духами. Бывший полковник русской армии, рассказывал про него Борис. Присутствовала и супруга хозяина, толстенная француженка, чье очень белое лицо с яркими алыми губами напомнило мне отварную телятину с томатом. Патрон сердечно приветствовал Бориса, они заговорили по-русски. Я в некотором отдалении ждал момента поведать о баснословном своем посудомоечном искусстве.

Затем патрон повернулся ко мне. Я неуклюже, но как можно угодливее шаркнул. Наслушавшийся от Бориса о самой низкой рабской категории плонжеров, я приготовился к презрению и спеси. С неожиданной благосклонностью, патрон потряс мне руку.

– О, так вы англичанин? – воскликнул он. – Но это же прелестно! И, полагаю, излишне спрашивать, играете ли в гольф?

– *Mais certainement*^[43], – сказал я, угадывая нужный ответ.

– Всю жизнь лелею мечту о гольфе. Не будете ли столь любезны, дорогой *monsieur*, не поясните ли хотя бы несколько основных приемов?

По– видимому, это был русский обычай вести дела. Патрон внимательно прослушал мои объяснения разницы между клюшкой и

кочергой, затем внезапно заявил, что все *entendu*: как только ресторан откроется, Борис станет метрдотелем, а я плонжером и впоследствии, если бизнес пойдет удачно, даже смотрителем клозета. Я спросил, когда ожидается открытие. «Ровно через две недели», – царственно ответил *patron* (он умел необыкновенно величаво взмахивать рукой, стряхивая сигаретный пепел). – «Ровно через две недели, день в день!». Затем он с нескрываемой гордостью повел нас по ресторану.

Тесноватое помещение состояло из бара, столовой и кухни, размером со среднюю ванную комнату. Убранство в дешевом «старинном» стиле (патрон именовал его «нормандским»: перекрестья темных фальшивых балок на белой штукатурке и т. п.), название для пущей средневековости придумано – «Трактир Жана Коттара». Имелся рекламный листок, где среди прочего вранья о местных достопримечательностях сообщалось, что в харчевню на месте нынешнего ресторана любил заходить Карл Великий, – изюминка, восхищавшая патрона. Бар украшали академически исполненные непристойные сладострастные аллегории в пышных рамах. Напоследок нам подарили по дорогой сигарете, прощальный обмен любезностями, и мы раскланялись.

Я ясно чувствовал, что ничего хорошего от этого ресторана не дожидаться. Патрон выглядел жуликом, хуже того – жуликом неумелым, и возле задних дверей сумрачно топтались двое, несомненные кредиторы. Но Бориса, уже считавшего себя метрдотелем, обескуражить было невозможно.

– Получилось! Успех – всего-то пару недель продержаться! А что такое парочка недель? Жратва? *Je m'en fous!*^[44] Нет, вообрази, через какие-нибудь три недели буду с милашечкой! Брюнеткой, интересно, или блондинкой? Ладно, любая хороша, лишь бы не слишком тощенькая.

Два следующих дня прошли уныло. На последние шестьдесят сантимов было куплено полфунта хлеба с долькой чеснока. Хлеб натирают чесноком, чтобы дольше обманывать язык вкусом еды. Почти все время мы просидели в Ботаническом саду. Борис пытался камнями подстрелить гулявших ручных голубей, но не попал ни разу; кроме этого нас развлекало составление обеденных меню на старых конвертах. Вконец оголодавшие, мы даже не пытались думать о чем-либо кроме съестного. Помню обед, выбранный наконец Борисом: дюжина устриц, борщ (отличный суп из красной свеклы с горкой сметаны), раки, цыпленок *en casserole*^[45], говядина со сливами, молодой картофель, салат, жирный пудинг, сыр рокфор, литр бургундского и старый бренди – относительно еды Борис

держался интернациональных взглядов. Позже, в эру преуспевания, мне доводилось видеть, как он без всяких затруднений справлялся с трапезами приблизительно того же объема и ассортимента.

Когда деньги иссякли, разыскивать работу я перестал, и был еще один день голодовки. В открытие «Трактира Жана Коттара» мне не верилось, другого ничего не предвиделось, но лень охватила такая, что я мог лишь валяться на кровати. Затем внезапный поворот судьбы. Вечером, часов в десять с улицы раздался призывный клич. Я подошел к окну – ликующий Борис победно махал тростью. Прежде всего он кинул мне вынутый из кармана, согнутый пополам батон:

– *Mon ami, mon cher ami* – спасены! Угадай?

– Неужели ты нашел работу?

– В «Отеле Икс» около площади Конкорд – пять сотен в месяц и кормежка. Сегодня уже выходил. Черт возьми, как я лопал!

У него, хромого, полсуток отработавшего на ногах, первой заботой было ночью потащиться за три километра меня обрадовать! А днем он велел дожидаться его в саду Тюильри на случай, если выйдет приволочь мне какой-нибудь еды. В назначенное время возле скамейки появился Борис. Достал из-под жилета большой бумажный сплюснутый кулек: телячьи фрикадельки, ломти хлеба, кусочек камамбера и эклер.

– *Voilà!* Больше не смог вынести, швейцар – ушлая сволочь.

Довольно неуютно жевать объедки на глазах у толпы посетителей парка, особенно в Тюильри, где всегда полно хорошеньких барышень, но голодному не до того. Я ел, а Борис мне рассказывал, что у него место в служебном кафетерии, что обслуживать кафетерий унижительно, это для официанта страшное падение, однако временно, до открытия «Трактира Жана Коттара», сойдет. Мы договорились о ежедневных встречах в Тюильри, куда Борис будет мне приносить поесть сколько сумеет. Наша система действовала, я кормился исключительно результатами покраж. Три дня спустя проблемы разом разрешились – один из плонжеров «Отеля Икс» уволился и по рекомендации Бориса место досталось мне.

«Отель Икс» – грандиозный дворец с парадной колоннадой; сбоку незаметной крысиной норкой ниша – служебный вход. Пришел я туда утром, без четверти семь. Вереница мужчин в лоснящихся потертых брюках торопливо втекала внутрь под контролем пялившегося из своей конуры швейцара. Я ждал, вскоре явился *chef du personnel*^[46] (должность вроде помощника управляющего) и начал задавать вопросы. Измотанный итальянец с бледным круглым лицом спросил, имею ли я опыт плонжера, услышал мое «имею», искоса поглядел на мои уличавшие во лжи руки, но, узнав, что перед ним англичанин, оживился и согласился меня взять.

– Как раз искали человека попрактиковаться в английском, – пояснил он. – Клиенты сплошь американцы, а мы тут по-английски только и знаем «...»! – Он произнес словцо, которое карябают на стенках лондонские мальчишки. – Ладно, пошли.

Мы спустились по винтовой лесенке глубоко вниз, в узкий коридор, с потолком таким низким, что местами мне приходилось нагибать голову. Невыносимо душно и очень темно, еле светились желтоватые редкие лампочки. Сумрачный лабиринт, тянувшийся, казалось, на много миль (вообще-то, вероятно, и километра не было), вызывал полное ощущение глубокого корабельного трюма: тот же жар, та же теснота, резкий горячий запах пищи и гудящий, дрожащий шум от кухонных печей, точь-в-точь как от паровой машины. Мы шли мимо дверей, из которых летели обрывки брани, падали яркие отсветы пламени, раз до костей пробрало сквозняком из холодильной кладовой. Вдруг что-то сзади меня яростно толкнуло – стофунтовая глыба льда, которую перевозил грузчик в синем переднике. Следом мальчишка тащил на плече огромный брикет телятины, щека прижата к влажной мясной мякоти. Отпихнув меня с криком «*Range-toi, idiot!*»^[47], носильщики промчались. Под одной из лампочек было нацарапано: «Скорей найдешь в ноябре летний день, чем в „Отеле Икс“ честную женщину». Все это выглядело диковато.

Очередной поворот вывел к прачечной, где из рук тощей старой мумии я получил синий передник и кучу застиранных тряпок. Оттуда шеф сопровождал меня в берлогу под основным подвалом – я еле втиснулся между раковиной и газовыми плитами; жаруща градусов сорок пять и потолок, мне лично не позволявший во весь рост распрямиться. *Chef du personnel* объяснил, что я должен обслуживать находившуюся надо мной

маленькую столовую, где питались служащие высших разрядов, – носить туда еду, убирать помещение и мыть посуду. Стоило начальнику уйти, сверху в дверь просунулась свирепо вращающая глазами голова официанта, тоже итальянца.

– Англичанин, да? Ну а я тут за все ответственный. Давай трудись! – Официант энергично изобразил тумак и шмыгнул носом. – Станешь отлынивать, – последовала серия крепких пинков по косяку, – рога мигом сверну, у меня не взбрыкнешь. И в любой заварухе я всегда прав, понял? Так что старайся!

Я весьма ретиво взялся за дело. Не отрываясь (на все передышки меньше часа), проработал с семи утра до девяти вечера: мытье посуды, затем уборка столиков и подметание полов, затем полировка стаканов, чистка ножей, затем доставка пищи, затем снова мытье посуды, затем доставка еще большего груза еды и мытье еще более высоких гор посуды. Работа легкая, справлялся я неплохо, скверно было только с походами на кухню.

Кухня эта превосходила всякое воображение – настоящая адская пещера, удушающая дымом и чадом, слепящая огненными бликами, оглушающая криком, стуком, лязгом и грохотом. Железо раскалено, и кроме самих печей вся металлическая арматура обмотана холстиной. В центре у плит крутится дюжина поваров; несмотря на белые колпаки пот с их лиц катит градом. Вокруг прилавки, осаждаемые толпами официантов и плонжеров с подносами. Голые по пояс повара шуруют в топках или вычищают песком громадные медные кастрюли. Все бешено торопятся. Шеф-повар, багровый, с роскошными усами, непрерывно выкрикивает: *Ca marche deux? ufs brouilles! Ca marche un Chateaubriand aux pommes sautees!* [48], изредка отвлекаясь на проклятья в адрес плонжеров. Прилавков было три, и по невежеству я первый раз сунулся со своим подносом не туда. Шеф-повар, крутя ус, подошел и, брезгливо смерив меня взглядом, бросил повару, готовившему завтрак: «Видал? **Таких** вот типчиков нам присылают!», а затем мне: «Откуда ты, болван? Похоже, из Шарантона?» (В Шарантане большой приют для сумасшедших).

– Из Англии, – ответил я.

– И как это я сразу не догадался! Что ж, *mon cher monsieur l'Anglais* [49], позвольте доложить, что вы сучье отродье. А теперь *fous-moi le camp!* [50] Жди где положено!

Подобным образом меня встречали при каждом визите на кухню, и поскольку я в чем-нибудь да ошибался, ругательства так и сыпались. Из

интереса я считал: за день меня обозвали «marquereau» (сутенером) тридцать девять раз.

В половине пятого итальянец сказал, что можно передохнуть, однако выходить из отеля не стоило, так как с пяти вновь начиналась работа. Я пошел покурить (курение строго запрещалось, но я, наученный Борисом, скрылся в сортире – единственном безопасном убежище). Потом труды мои продолжились, а четверть десятого, сунув голову в дверь, официант распорядился оставить недомытые тарелки. К моему удивлению, весь день клеймивший меня свиньей, тухлой салакой и так далее, итальянец вдруг сделался вполне дружелюбным. Стало ясно, что щедрой бранью меня, так сказать, проверяли на прочность.

– Кончай, малыш, – подмигнул официант. – *Tu n'es pas debrouillard*^[51], но работаешь нормально. Идем-ка ужинать. Нам каждому тут полагается по два литра вина да я еще бутылочку припрятал – хлебнем на славу!

Мы превосходно поужинали тем, что оставалось после кормления старших по рангу. Мой официант, подвыпив, рассказал про все свои любовные делишки, про двух парней, которых он поколотил в Италии, про то, как ловко сумел увильнуть от службы в армии. Вблизи он оказался славным малым, чем-то все время для меня перекликался с Бенвенуто Челлини^[52]. Я сидел взмокший и уставший, но поистине обновленный после солидного дневного рациона. Работа показалась нетрудной, меня бы она вполне устроила, только рассчитывать на продолжение не приходилось: взят я был «экстренным» – на одну смену за единовременные двадцать пять франков. Из этой суммы щурившийся мерзким хорьком швейцар изъясил полфранка, якобы страховой сбор (чистое вранье, как позже выяснилось), а также приказал мне снять пальто и, выйдя из конурки, ощупал с головы до пят, очень старался найти ворованные продукты. Затем подошел *chef du personnel*, который стал, подобно официанту, дружелюбен, уверившись в моем трудовом рвении:

– Возьмем, если ты хочешь, постоянным. Метрдотелю страшно нравится, как произносят названия блюд у англичан. Так что, подпишешься на месяц?

Вот и работа, и я был бы счастлив схватить ее. Но русский ресторан, где открытие через две недели? Не очень-то красиво пообещать работать месяц и посреди срока уйти. Признавшись, что у меня в перспективе другое место, я спросил, нельзя ли наняться на две недели? *Chef du personnel* пожал плечами – в отель людей берут не меньше чем на месяц. Очевидно, я упустил свой шанс.

С Борисом мы договорились встретиться под арками улицы Риволи. Узнав, что приключилось, он впал в ярость. Впервые на моих глазах забыл хорошие манеры и назвал меня дураком:

– Идиот! Натуральный идиот! Что толку клянчить, добывать тебе работу, если ты вмиг ее прохлопал? Ну можно ли быть таким олухом, чтоб заикаться о другом ресторане? Одно ведь требовалось – обещать им этот месяц.

– Честнее все-таки было предупредить, что, вероятно, придется уйти раньше, – возразил я.

– Честней! Честней! Кто и когда что-нибудь слышал о чести-совести плонжеров? *Моп аті*, – он порывисто ухватил меня за лацкан и голос его потеплел, – *топ аті*, ты целый день там работал, ты видел, каково это, ты полагаешь, уборщики могут себе позволить благородные чувства?

– Наверное не могут, нет.

– Ну вот! Быстро беги обратно, скажи этому *chef du personnel*, что очень даже готов проработать месяц, что от другого места откажешься. Уволимся только тогда, когда наш ресторан откроют.

– Но как же насчет жалования, если я нарушу контракт?

Взбешенный моей тупостью, Борис хватил палкой о тротуар и заорал:

– А ты проси поденную оплату, не потеряешь ни гроша! Воображаешь, судятся с плонжером за нарушение контракта? Не такова птица, чтобы суды из-за нее разводить!

Я понесся назад, разыскал начальника персонала и заявил о полной своей готовности работать месяц, на который и был взят. Это мне был первый урок плонжерской этики. Впоследствии я понял, насколько тут нелепа какая-либо щепетильность, – к работникам в больших отелях беспощадны, их нанимают и рассчитывают по мере надобности. Под конец сезона увольняют процентов десять, даже больше. И никакой сложности заменить любого в любой момент, ведь Париж переполнен безработной гостиничной прислугой.

При увольнении контракт я не нарушил, ибо в «Трактире Жана Коттара» некий намек на открытие замаячил лишь месяца через полтора. Начались мои труды в «Отеле Икс» – четыре дня в кафетерии, день помощником официанта четвертого этажа, еще день на замене уборщицы столовой. По воскресеньям – о блаженство! – отдых, хотя иной раз требовалось и в воскресенье подменить кого-то из заболевших. Режим работы был такой: днем с семи утра до двух и вечером с пяти до девяти-одиннадцати, а в день, когда я служил при столовой, четырнадцать часов подряд. По нормам парижских плонжеров условия необычайно мягкие. Тяготила лишь страшная духота подземных лабиринтов. Хотя вообще служба в больших, хорошо организованных отелях считалась весьма комфортабельной.

Наш кафетерий представлял собой полутемный подвальчик шесть метров на два и чуть более двух высотой; втиснуто столько кофейников на спиртовках и хлеборезок, что с трудом проберешься, не наставив себе синяков. Светили одна тусклая голая электрическая лампочка и несколько дышавших горячими красными язычками газовых рожков. Висевший на стене термометр никогда не показывал ниже сорока трех градусов, временами доходило и до пятидесяти пяти. По одной стороне были люки пяти подъемников, напротив дверца чулана со льдом, где хранились масло и молоко. Шагнешь в чулан – мгновенно в климате прохладнее градусов на пятьдесят (мне всегда вспоминался гимн о Британии великой, которая от снежных гор Гренландии до коралловых берегов Индии). Обслуживали кафетерий Борис, я и еще двое: огромный, чрезвычайно страстный Марио, итальянец с оперной жестикуляцией полисмена-регулирующего, и странноватое лохматое существо, именовавшееся у нас Мадыаром (он, по-видимому, добрался сюда из Трансильвании или откуда-то еще дальше). Кроме Мадыара все мы отличались не мелкой статью и вынуждены были в часы пик толкаться вместе.

Работа в кафетерии приливами. Без дела мы никогда не сидели, но настоящий шквал – на здешнем языке *coup de feu*^[53] – обрушивался дважды в день. Первый *coup de feu*, когда гости, проснувшись, требуют завтрак. В восемь утра подвал внезапно сотрясается от топота и крика, отовсюду яростные звонки, люди в синих передниках мчатся по коридорам, подъемники одновременно падают вниз и в люках гремит итальянская

ругань официантов со всех пяти этажей. Не помню уже полного перечня наших дел, но нам в обязанность вменялось приготовление чая, кофе, шоколада, доставка блюд из кухни, вин из погреба, фруктов и прочего из столовой, нарезка хлеба, поджаривание тостов, свертывание рулетиков масла, раскладывание джема, открывание жестянок с молоком, отмеривание множества порций сахара, варка овсянки и яиц, сбивание мороженого, верчение кофемолок – все это для пары сотен клиентов. Кухня находилась в тридцати метрах, столовая метрах в шестидесяти. То, что мы отправляли на подъемниках нужно было регистрировать, и регистрировать тщательно – за горстку неотмеченного в квитанции сахара грозили серьезные неприятности. Помимо этого требовалось снабжать хлебом и кофе персонал и доставлять еду официантам наверх. Забот, в общем, хватало.

По моим подсчетам, ежедневно ходишь, бегаешь километров двадцать пять, и все же устают в первую очередь не мышцы, а мозги. Казалось бы, тупая подсобная работа, проще не бывает, но необыкновенно трудно из-за гонки. Мечешься как угорелый, похоже на задачу впопыхах разложить сложный пасьянс. Только, например, возьмешься жарить тосты – бах! сверху прибывает подъемник с заказом на чай, булочки и джем трех сортов. И тут же – бах! рядом требование отправить яичницу, кофе и грейпфрут. Молнией летишь в кухню за яичницей, в столовую за грейпфрутом, чтобы вернуться к подгоревшим тостам, держа в голове «срочно – чай, кофе!» и еще с полдюжины ожидающих заказов. И тут же какой-нибудь официант неотступно ходит за тобой, пристает насчет недостающей бутылки содовой, и пререкаешься с ним, выясняешь. Кто бы мог ожидать такого умственного напряжения! Марио говорил (без сомнения справедливо), что на прочные навыки для кафетерия нужен год.

С восьми до половины одиннадцатого как в бреду. То спешишь, задыхаешься, будто жить осталось несколько мгновений, а то вдруг штиль, поток распоряжений стихает и общий минутный покой. Тогда метешь пол, насыпаешь свежих опилок и кружками глотаешь кофе, воду, вино – что-нибудь, лишь бы влага. Работая, мы обычно сосали отколотые кусочки льда. Возле горящих газовых конфорок мутило, и питье заглатывалось литрами, через несколько часов даже фартук пропитывался потом. Время от времени мы безнадежно отставали, рискуя лишить часть клиентов завтрака, но Марио всегда вытягивал. Четырнадцатилетний стаж в кафетерии приучил его ни на миг не отвлекаться. Мадьяр был туп, я был неопытен, Борис (отчасти из-за хромоты, отчасти из-за постыдной для официанта должности) норовил увильнуть, но Марио работал великолепно.

Его умение, раскинув длинные руки, одновременно варить яйца на плите и наливать кофе на столике напротив, при этом бдительно следить за тостами, руководить Мадьяром и еще напевать арии из «Риголетто» было выше всяких похвал. Патрон знал ему цену: нам всем в месяц платили по пятьсот, а Марио получал тысячу.

Кутерьма завтрака кончалась в половине одиннадцатого. Мы отскребали свои рабочие столы, убирались, вытряхивали мусор и, если все обстояло благополучно, по очереди шли курить в сортир. Можно было расслабиться; расслабиться, правда, лишь относительно, так как на перерыв давалось десять минут и никогда не получалось отдохнуть без помех. С двенадцати до двух новая волна суматохи – у клиентов ланч. Теперь мы главным образом перетаскивали еду из кухни, соответственно получая *engueulades*^[54] от поваров. Повара уже часов пять потели возле печей, и темперамент их достаточно разогревался.

Ровно в два превращение в свободных граждан. Фартуки долой, надеваем пальто, выходим и (при наличии денег) ныряем в ближайшее бистро. Странно очутиться на улице после жарких полутемных подземелий. Ослепительный свет, ясно и холодно, будто полярным летом, а как приятен бензиновый воздух после вонючей смеси испарений пищи и пота! Порой в бистро случались встречи с нашими официантами и поварами, которые тут вели себя по-приятельски, ставили выпивку. На работе мы были их рабами, но вне службы по внутреннему этикету полагалось полное равенство и *engueuledes* не допускались.

Без четверти пять возвращение. До половины седьмого заказов нет, мы заняты чисткой серебра, мытьем кофейников, другими попутными делами. Затем самый высокий за день штормовой вал – ужин! Хотелось бы на время стать Золя, чтобы достойно обрисовать эту бурю. Суть заключалась в том, что каждый из пары сотен гостей требовал собственную трапезу, включавшую пять-шесть блюд, а полсотни людей должны были готовить кушанья, подавать, забирать потом объедки, убирать столики (всякий, знакомый с ресторанным делом поймет задачу). И при таком усиленном режиме персонал к вечеру уже совсем измотан, а многие работники пьяны. Никаких слов не хватит для изображения полной картины: беготня с грузами взад-вперед по узким лабиринтам, крик, сутолока, столкновения с подносами, корзинами, кубами льда, темень, жара, неуголенная по недостатку времени ярость вскипающих безумных ссор – неопишимо. Попавшему сюда впервые увиделось бы логово маньяков. Только позже, освоившись в отеле, я разглядел порядок в этом хаосе.

В восемь тридцать резкое торможение. До девяти мы еще не свободны,

но можем растянуться на полу и дать отдых ногам, не способным даже доковылять до чулана, взять со льда что-нибудь из питья. Иногда *chef du personnel* приносит пиво (пиво официально выдавалось как экстренное средство взбадривания). Хотя кормили нас съедобно и не более, насчет спиртного патрон не скупился, каждому позволяя два литра вина в смену и зная, что без официальных двух литров плонжер украдет три. Вдобавок в нашем распоряжении оставались многие недопитые бутылки, так что прикладывались мы и часто и усердно, – штука полезная, работается под хмельком как-то повеселей.

Подобным образом прошло четыре дня, потом еще один, когда было получше, потом другой, когда похуже. К концу недели весьма ощущалась потребность в отдыхе. У завсегдатаев бистро моей гостиницы существовал обычай крепко напиваться субботним вечером, и я, имея впереди свободный день, охотно к ним примкнул. Упившись донельзя, мы разошлись в два часа ночи с тем чтобы отсыпаться до полудня. Полшестого меня внезапно разбудили. Посланный из отеля ночной сторож сдергивал одеяло и грубо тряс меня.

– Вставай! – орал он. – *Tu t'es bien saoule la gueule, pas vrai?*^[55] Ничего, очухаешься! Человек срочно нужен – работать давай иди.

– Как это работать? – сопротивлялся я. – У меня выходной.

– Выходной у него! Раз работа, так исполнять должен. Вставай!

Я встал и вышел на улицу, позвоночник раздроблен, под черепом пылающий костер. Ни о какой работе речи быть не могло. Однако после часа под землей самочувствие совершенно пришло в норму. Подвальная жара не хуже турецкой бани выпаривает почти любое количество спиртного. Плонжеры пользуются этим. Возможность влить в глотку литры вина и пропотеть, пока не начались всякие неприятности для организма, – завидное преимущество жизни плонжера.

Лучше всего бывало мне в отеле, когда я помогал официанту четвертого этажа. Мы работали в небольшой кладовой, сообщавшейся с кафетерием через подъемный люк. Упоительная прохлада после подвала, и работа – главным образом полировка серебра и стеклянных бокалов, весьма гуманный вид труда. Официант Валенти, парень вполне приличный, наедине со мной общался почти как с равным, хотя конечно грубил при свидетелях, ибо официантам не пристало любезничать с плонжерами. В удачные для него дни Валенти подкидывал мне несколько франков от своих чаевых. Миловидный юноша двадцати четырех лет, а по виду восемнадцати, он, как и большинство официантов, следил за внешностью, умел носить одежду. В черном фраке и белом галстуке, сияя свежим лицом и пробором гладко зачесанных каштановых волос, смотрелся настоящим воспитанником Итона^[56] при том что с двенадцати лет сам зарабатывал себе на жизнь, пробиваясь буквально из канавы. Опыт его уже включал и беспаспортный переход границы, и пятьдесят суток ареста в Лондоне за отсутствие разрешения на работу, и любовную связь с клиенткой отеля, старой богачкой, подарившей ему алмазный перстень и потом обвинившей в краже. Приятно было поболтать с ним, покуривая, выдыхая дым в шахту подъемника.

Худшим был день уборщика столовой. Тарелки, на которых приносилась еда из кухни, я не мыл, только другую посуду, приборы и стаканы, тем не менее даже это означало тринадцать часов у раковины и тридцать-сорок мокрых кухонных полотенец. Французский старомодный способ мытья посуды очень утяжеляет дело: о сушилках для посуды тут и не слыхивали, нет и мыльных хлопьев, есть лишь кусок черного глинистого мыла, упорно не желающего мылиться в парижской жесткой воде. Основная работа шла в непосредственно примыкавшем к столовой грязном, захламленном чулане (одновременно и моечной и кладовой). Кроме того, на мне были доставка блюд и обслуживание официантов, чья нестерпимая наглость не однажды заставляла применять кулаки для исправления манер. Женщине, постоянной здешней судомойке, эта публика совершенно отравила существование.

Забавно было, стоя в своей помойной конуре, представлять сверкающий лишь за двумя дверями зал ресторана. Там клиенты среди сплошного великолепия – безупречные скатерти, букеты, зеркала,

золоченые карнизы, росписи с херувимами, а тут, вплотную, наша мерзкая грязь. Грязь действительно была омерзительная. До вечера на уборку пола ни минуты, и топчешься по скользкой мыльной каше салатных листьев, размокших салфеток, остатков пищи. За столиками дюжина официантов, сняв пиджаки, демонстрируя взмокшие подмышки, месит себе салаты (на больших пальцы едоков следы сметаны из горшочков). Комната провоняла потом и кислятиной. В шкафах за стопками посуды всюду напихана краденая еда. Умывальника не имелось, только две раковины с затычками, и у официантов было обычным делом ополоснуть лицо в той же воде, где споласкивалась посуда. Клиенты, однако, обо этом не подозревали. Благодаря кокосовому половику и зеркалу перед дверью в ресторан, официант, прихорошившись, выходил к гостям олицетворением опрятности.

Эти выходы стоило посмотреть. В дверях моментальная перемена – плечи расправлены, неряшливости, суетливой нервозности как ни бывало, по ресторанном ковру плавная церемонная поступь архиепископа. Помню, как-то помощник метрдотеля, вспыльчивый итальянец, на выходе обернулся к новичку, разбившему бутылку вина (двери, по счастью, хорошо глушили звук):

– *Tu me fais chier*^[57]. Какой из тебя официант, ублюдок ты поганый? Официант! Не годен даже полы скрести в борделе своей мамы, старой потаскухи! *Marquereau!*

С порога он еще яростнее повторил самое популярное у итальянцев оскорбление, толкнул дверь... И грациозным лебедем поплыл с подносом через зал. Секунд десять спустя почтительно изогнулся перед столиком. Ну кто бы, видя эту обходительность, эти манеры, эту натренированную деликатность улыбок, мог сколько-нибудь усомниться в аристократизме сего подателя тарелок.

Мыть здесь посуду я терпеть не мог – не тяжело, но зверски тупо и надоедливо. Страшно подумать, что есть люди, обреченные делать это десятилетиями. Судомойке, которую я заменял, было весьма за шестьдесят, и круглый год, шесть дней в неделю ей приходилось горбиться над раковиной, постоянно терпя вдобавок хамство официантов. Будучи в прошлом, по ее словам, актрисой (на самом деле, как я полагаю, проституткой; уборщица – финал большинства дам этой профессии), она носила мало подходящий ее месту и возрасту парик яркой блондинки, рисовала на лице губки и бровки юной куколочки. Что ж, видно, даже рабство по семьдесят восемь часов в неделю приканчивает человека не до конца.

На третий день службы в отеле *chef du personnel*, дотоле обращавшийся ко мне вполне любезно, вызвал меня и резко бросил:

– Вот что, кончай, немедленно сбривай усы! *Nom de Dieu*, где такое видано – плонжер с усами?

Я начал было возражать, но он отрезал: «Плонжер с усами – чушь! Чтобы завтра же явился без этого безобразия!»

По дороге домой я спросил Бориса, в чем дело. Он пожал плечами:

– Необходимо покориться, *mon ami*. В отеле, как ты, вероятно, успел заметить, усы только у поваров. Резоны? Резонов никаких, но так уж заведено.

Обнаружив столь же строгий параграф этикета, как невозможность повязать белый галстук к смокингу, я сбрил усы. Со временем подтекст правила прояснился: официанты усы бреют в знак сословного превосходства, запрещая ношение усов и плонжерам, а повара носят усы в знак презрения к официантам. Достаточно наглядно для представления о сложной кастовой иерархии. У сотни с лишним человек персонала различия по старшинству типа армейских; официант или повар выше плонжера, как лейтенант относительно рядового. В верховном чине управляющий с его властью уволить кого угодно вплоть до поваров. Патрона мы никогда не видели (знали лишь то, что кушанья ему надо готовить еще внимательнее, чем клиентам); управляющий руководил всем, очень рьяно следя за дисциплиной, особенно в части увиливания от работы. Но нас, умников, подловить было нелегко. Пронизывавшую отель сеть служебных звонков штат приспособил для оповещения коллег. Сигнал «длинный-короткий-два длинных» предупреждал «начальство близко», и мы кидались изображать бурную хлопотливость.

Ступенькой ниже управляющего метрдотель. Ресторанным гостям он не прислуживал, разве что исключительно знатым особам, а командовал официантами и вообще направлял работу в зале. Его чаевые с премиальными винных компаний (два франка за пробку от шампанского) достигали двух сотен в день. Он находился на особом положении – ел у себя в кабинете, столовый прибор из серебра и возле стола пара начинающих лакеев в крахмальных белых куртках. Чуть ниже главного официанта главный повар, получавший около пяти тысяч в месяц. Обедал шеф-повар на кухне, но за отдельным столиком и с прислуживающим

поваренком. Затем шел *chef du personnel*: месячный оклад всего полторы тысячи, зато право носить черный пиджак, самому ничего не делать и рассчитывать превосходных официантов и плонжеров. Затем повара, им платили от семисот пятидесяти франков до трех тысяч; затем официанты, у которых кроме маленькой твердой зарплаты набегало в день франков семьдесят чаевых; затем швеи и прачки, затем ученики официантов (оклад семисот пятьдесят и пока без чаевых), затем плонжеры с той же ставкой семисот пятьдесят, затем горничные, получавшие по пятьсот-шестьсот франков, и наконец работники кафетерия – пять сотен в месяц. Мы, «кафетьеры», были самым дном, нас сообща презирали и называли исключительно на «ты».

Имелись всякие другие специальности: и конторщик, и так называемый курьер, и кладовщик, и особый кладовщик винного погреба, и бой, таскающий за клиентом чемоданы, исполняющий мелкие поручения, и грузчик, и еще пекарь, развозчик льда, ночной сторож, швейцар. Различные рабочие места занимали представители разных наций. Конторщики, прачки и повара – французы; официанты – итальянцы или немцы (француза-официанта в Париже едва ли сыщешь); плонжеры – из всех европейских стран, а также арабы и негры. Общались все, и даже итальянцы между собой, на французском жаргоне.

У каждого подразделения свои льготы. Пекарям парижских отелей выпечка с браком продается по восемь су за фунт, плонжеры делят гроши от продажи помоев на корм свиньям. И везде процветает мелкое воровство. Расхищаются продукты – порции официантов всегда больше казенной нормы (каких-либо особых неприятностей из-за этого я не замечал), у поваров на кухне то же и масштабы еще крупнее, мы в кафетерии обпивались незаконными литрами чая и кофе. На винном складе кладовщик крал коньяк. По правилам отеля официантам запрещалось припасать алкоголь, с каждым заказом на спиртное следовало идти в погреб, а там кладовщик всякий раз каплю недоляет, чтобы потом приторговывать, отпуская надежным сослуживцам стопочку коньяка за четверть франка.

Попадались воры, кравшие у своих; оставленные в пальто деньги обычно исчезали. Самым большим грабителем оказался выдававший заработок и обыскивавший нас швейцар. При моих пяти сотнях в месяц, через полтора месяца он нагрел меня на сотню с лишним. Поскольку я договорился брать поденно, он каждый вечер мне отсчитывал шестнадцать франков и ни сентима не давал за выходные (которые, конечно, тоже входили в общий счет), присвоив таким образом шестьдесят четыре

франка. Мало того, иногда ведь я работал по воскресеньям, но ничего не знал о сверхурочных двадцати пяти франках, и он спокойно положил себе в карман еще семьдесят пять. Когда я понял это жульничество, доказывать что-либо было уже поздно, вернуть удалось только двадцать пять франков за последний отработанный выходной. Такие фокусы швейцар проделывал со всяким достаточно круглым дураком. Армянин, называвший себя греком, он подтвердил мне правоту поговорки: «Змее верь больше чем еврею, еврею верь больше чем греку, но никогда не доверяй армянину».

Среди официантов мелькали странные фигуры. Был некий джентльмен из хорошей семьи и с университетским дипломом, который успешно начал карьеру в солидной фирме, но, подхватив дурную болезнь, работу потерял, где-то болтался, теперь за счастье почитал прислуживать у столиков. Многие просочились во Францию без паспортов, один или двое из таковых наверняка шпионили – профессия официанта удобна и популярна в шпионском деле. Однажды полыхнула ссора между жутковато глядевшим своими чересчур широко расставленными глазами Моранди и другим официантом, у которого Моранди, по видимому, отбил любовницу. Противник, явно трусивший слабак, туманно угрожал, и Моранди издевался над ним:

– Чего ты сделаешь-то, ну чего? Ну поймел я твою кралю, три раза переспали – красота! Чего ты сделаешь-то мне?

– А донесу вот в полицию секретную, что ты – итальянский шпион!

Отрицать это Моранди не стал, он выхватил из заднего кармана бритву, молниеносно чиркнув косым крестом по воздуху, будто кому-то по щекам. Соперник дал задний ход.

Наиболее оригинальное впечатление на меня в отеле произвел один «экстренный», по соответственной расценке взятый на день вместо приболевшего Мадьяра. Это был серб, шустрый коренастый парень лет двадцати пяти, говоривший на шести языках, включая английский. Знавший, казалось, всякое гостиничное дело, он до полудня усердно, покорно вкалывал, но только пробило двенадцать, помрачнел, работать почти перестал, украл вина и часам к двум увенчал все это откровенным бездельем с трубкой в зубах. Курение активно преследовалось и каралось сурово. Сам управляющий для выяснения проступка спустился к нам, кипя негодованием:

– Какого дьявола ты вздумал тут курить? – заорал он.

– Какого дьявола ты отрастил такое рыло? – невозмутимо ответил серб.

Богохульство, степень которого не передать; шеф-повар за такую

реплику плонжера выплеснул бы тому в лицо кипящий суп. «Уволен!» – рявкнул управляющий. Серб, выдав его экстренные двадцать пять франков, немедленно удалили. Напоследок Борис спросил по-русски, что за комедию парень ломал. И серб ответил:

– Сам рассуди, *mon vieux*^[58], если я в полдень работал, так должны мне этот день оплатить? Обязаны! Таков закон. А если денежки уже мои, охота надрываться? Тогда смотри, какую я завел систему: иду в отель, прошусь «экстренным», до двенадцати вкалываю, но, как полдень отбило, подымаю такой тарарам, что уж приходится меня уволить. Чистый номер? Обычно ухожу уже полпервого, сегодня в два – черт с ними, наплевать, четыре часа все равно себе оттяпал. Жаль только, по второму разу в одном месте не провернешь.

Он, видимо, обошел со своим номером уже половину парижских отелей и ресторанов. Несмотря на усиленные старания администрации защититься составлением черных списков, его шутку запросто можно было разыгрывать на протяжении всего лета.

Через несколько дней я уловил суть общей механики. Прежде всего в отелях новичка поражают накатывающие бешеной суматохи, столь отличной от ровного ритма работы у прилавков или станков, что дело видится плохо организованным. Ситуация, однако, и неизбежна, и вполне логична. Не особо замысловатые гостиничные службы принципиально не поддаются четкому регулированию. Нельзя, скажем, поджарить бифштекс за пару часов до заказа на него; надо ждать повеления клиента, а дождавшись массы разом хлынувших требований, исполнять все их одновременно и в дикой спешке. Люди здорово перегружены, что, естественно, не обходится без свар и брани. И, надо сказать, перебранки – необходимая часть процесса, темп которого никогда не достиг бы нужных скоростей, если бы всякий не клял всякого за нерадивость. Час трапезы клиентов превращает персонал в яростно мечущих проклятья демонов и заменяет почти все глаголы единственным «пошел ты!». С губ шестнадцатилетней замарашки сыплются выражения, сразившие бы даже шоферов. (Почему Гамлет говорит «браниться, как судомойка»? Несомненно, Шекспир лично наблюдал кухонных слуг в деле). Тем не менее мы, ругаясь, ни голов, ни времени не теряли, а просто помогали друг другу уплотнить напряженные часы.

На чем в действительности держится отель, так это на преданном отношении к работе, пусть даже самой примитивной. Лентяя здесь быстро опознают и дружно заставляют убираться. Позиции у поваров, официантов и плонжеров весьма различны, но во всех живет гордость своим занятием.

Наиболее близки рабочему классу и далеки от лакейства повара. Они не получают таких денег, как официанты, зато у них выше престиж и место их значительно прочнее. Сам повар себя ощущает не прислугой, а мастером, его и называют *un ouvrier*^[59] (официанта так никогда не назовут); он знает свою силу – знает, что в первую очередь от него зависит успех дела, что, опоздай он хоть на пять минут, порядок рухнет. Презируя всех работников не поварской профессии и полагая делом чести оскорблять каждого из них за исключением метрдотеля, повар гордится достигнутым долгой практикой артистизмом – сложно не столько приготовить еду, сколько суметь приготовить ее вовремя. От завтрака до ланча шеф-повару «Отеля Икс» заказов поступало на сотни кушаний с разными сроками исполнения, и хотя самолично он готовил немного, но инструктировал и

проверял каждое блюдо. Память его изумляла. Листки с заказами прикалывались на столе, однако шеф-повар редко туда поглядывал, все держал в голове и выкрикивал какое-нибудь очередное *Faites marcher une cotelette de veau!*^[60] минута в минуту. Он был невыносимо груб, но подлинный артист. За точность, отнюдь не за превосходство в ремесле, предпочитают поваров мужчин.

Совсем иной внутренний взгляд у официантов. Тоже есть гордость мастерством, но мастерством услужливым, лакейским. Дни официант проводит, непрерывно глаза на богачей, стоя возле их столиков, ловя их разговоры, примазываясь к ним улыбочками и осмотрительными шуточками – наслаждаясь неким приобщением к их расточительству. А кроме того, всегда существует собственный шанс разбогатеть; в некоторых кафе на Больших бульварах такие щедроты от гостей, что сами лакеи платят хозяевам за рабочие места. Постоянно наблюдающий трату денег и грезящий об этих деньгах, официант в конце концов чувствует себя чем-то единым с клиентурой. Из кожи вон лезет, стараясь обслужить стильно, так как и самого себя он уже ощущает участником пиров.

Валенти рассказывал мне о каком-то банкете в Ницце, стоившем двести тысяч франков и потом месяцами обсуждавшемся: «Какая ж роскошь, *mon p'ti, mais magnifique!*»^[61] Ух ты черт! Шампанское, серебро, орхидеи – сроду такого не видал, хотя кой-чего приводилось. Ух, вот роскошь!»

– Ты ведь, однако, лишь прислуживал? – уточнил я.

– Ну да, конечно. Но какая ж роскошь!

Мораль – никогда не жалейте официанта. Например, вы сидите в ресторане, сидите уже полчаса после закрытия и представляете, что измученный официант вас презирает. Ошибаетесь. Глядя на вас, он не думает: «Лопнул бы ты, дубина!», а думает он: «Вот когда-нибудь накоплю денег и таким же господином буду сидеть». Полнейшая готовность служить тем радостям, которые его влекут и восхищают. Поэтому редко найдешь среди официантов социалиста, поэтому и хилый профсоюз, поэтому рабочий день двенадцать, порой даже пятнадцать часов. Это снобы, душевно вполне расположенные к лакейству.

Свой особенный взгляд изнутри и у плонжеров. В их работе перспектив нет, одно выжимание соков, ни следа творчества или интереса. Сюда брали бы просто уборщиц, если б у женщин хватало сил. Все что тут требуется – постоянно быть на ногах и подолгу выносить кислородное голодание. Переменить эту жизнь невозможно, так как ничего из грошовой

зарплаты не отложишь, а подыскать что-то другое, работая от шестидесяти до сотни часов в неделю, нет времени. Надеяться плонжер в лучшем случае может на чуть более теплое местечко ночного сторожа или смотрителя клозета.

Но даже у нижайшего плонжера, раба рабов, наличествует некий сорт гордости – гордость трудяги, берущего не содержанием, зато количеством труда. На этом уровне единственно доступный способ держать себя с достоинством это пахать как вол. Плонжер высшего пилотажа – «дебруйар», тот, кто самое невозможное исполнит, со всем справится, всегда изловчится (*se debrouiller*^[62]). В «Отеле Икс» при кухне работал немец, известный местный дебруйар. Однажды важному клиенту, какому-то британскому милорду, вдруг среди ночи захотелось персиков, что привело официантов в смятение, поскольку фрукты эти на складе кончились, а магазины давно закрылись. «Без паники!», – сказал немец. Ушел и через десять минут возвратился с четырьмя персиками – своровал их в соседнем ресторане. Вот что такое дебруйар. С милорда взяли по двадцать франков за персик.

Старшина нашего кафетерия Марио демонстрировал тип образцового трудяги: всецело сосредоточенный на «работенке» и призывающий к тому же остальных. Четырнадцать лет службы в гостиничных подвалах закалили его обильное врожденное благодущие до крепости стального поршня; *faut etre un dur* – «надо быть как кремь», говорил он, услышав чье-то нытье. И плонжеры частенько похвалялись «я как кремь», ощущая себя гвардейцами, а не судомойками мужского пола.

Таким образом, чувство служебной чести присутствовало во всех подразделениях и очередной гигантский вал работы встречался во всеоружии соединенных сил. Вечный бой между отделами тоже определенным образом шел на пользу, так как охрана собственной льготной добычи отваживала посторонних грабителей и ловкачей.

Порядок многосоставного хозяйства с разномастным обслуживающим персоналом обеспечивался четкой задачей каждого и личной его добросовестностью. Это в отеле было хорошо. Но был и слабый пункт – усилия работников не совсем совпадали с нуждами клиентов. Гости, по их убеждению, платили за высококласный сервис, а служащие, по их убеждению, получали за «работенку», вследствие чего высококласный сервис преимущественно имитировался. В этом отношении отель со всеми его чудесами пунктуальности уступал худшему из наихудших частных домов.

Взять, для примера, чистоту. В рабочих помещениях «Отеля Икс»

свежему глазу открывалась грязь вопиющая. По всем темным углам кафетерия присохла еще прошлогодняя гадость, а хлебница кишела тараканами. Я как-то предложил Марио истребить этих тварей. «Зачем убивать бедных букашек?» – укоризненно сказал он. Товарищи мои хохотали, когда я мыл руки прежде чем взяться за масло. Тем не менее чистоту, причисляемую к «работенке», мы блюли. Во исполнение режима мыли рабочие столы и начищали медь регулярно; но распоряжений по-настоящему навести чистоту не поступало, да и некогда было. Мы просто отрабатывали наш урок, и так как первейшей задачей ставилась точность, берегли время, оставаясь в прежнем хлеву.

На кухне грязь была похлеще нашей. Это не фигура речи, а констатация факта, когда говорят, что французский повар способен плюнуть в суп (не тот, естественно, которым сам он намерен угоститься). Здешний повар артист, однако отнюдь не гений чистоплотности. В определенной мере небрежность даже необходима его артистизму: шикарный вид еды требует антисанитарной обработки. Когда шеф-повару передают для заключительного оформления какой-нибудь бифштекс, вилкой маэстро не пользуется. Он хватает мясо рукой, хлопает его на тарелку, укладывает пальцами, облизав их с целью проверить соус, перекладывает кусок, снова облизав свой инструмент, затем, чуть отступя, критически глядит на блюдо, подобно живописцу перед мольбертом, и наконец любовно завершает композицию толстыми розовыми пальцами, с утра облизанными уже стократно. Будучи удовлетворен, шеф-повар тряпкой удаляет отпечатки пальцев с фарфоровых краев и вручает произведение официанту. И официант, конечно же, несет тарелку, запустив в соус **свои** пальцы – мерзкие, сальные пальцы, которыми он беспрерывно приглаживает густо набриоленную шевелюру. Всякий раз, уплатив за бифштекс в Париже свыше десяти франков, можно не сомневаться в пальцевой методе приготовления. В дешевых ресторанах по-другому, там эти пакости еду минуют; куски, подцепив вилкой из кастрюли, раскидывают по тарелкам без художеств. Грубо говоря, чем выше цена в меню, тем больше пота и слюны достанется вам бесплатным гарниром.

Неопрятность присуща отелям и ресторанам, цель которых не накормить, а сразить шиком. Работник слишком занят подачей пищи, чтобы помнить, что эту пищу едят. Еда для него просто *une commande*^[63], вроде того как чья-то смерть от рака для врача просто «случай». Клиент заказывает, скажем, тост. Где-то в подвале некто, разрываясь на части, обязан быстро заказ исполнить. Может ли он приостановиться с мыслью: «Тост этот съедят – надо бы, значит, сделать его съедобным?». В голове у

него только то, что выглядеть блюдо должно пристойно и отнять не больше трех минут. Пот со лба капает на хлеб – ну и что? Тост падает на пол, в месиво грязных опилок – ну и что, не с новым же возиться? Гораздо проще испачканный ломтик обтереть. По пути наверх тост опять падает, маслом вниз, – еще раз обтереть да и все. Такова система. Аккуратно в «Отеле Икс» готовили лишь самим себе и патрону. Всеобщей моральной заповедью было «гляди в оба, если хозяину, а для клиентов – наплевать, *s'en fout pas mal!*^[64]» Всюду в рабочих отделах сор и гадость; за фешенебельным фасадом тайная циркуляция грязи, как работа кишечника в теле красавицы.

Помимо свинского неряшества патрон сознательно обжуливал клиентов. Главным образом, закупкой дрянных продуктов, которые повара, однако, умели стильно преподнести. Мясо в лучшем случае среднего качества, а овощи такие, что хозяйки, ходя по рынку, на них даже бы не взглянули. Сливки, продукт повышенного спроса, разбавлялись молоком. Чай и кофе худших сортов; джемы со всякой химией, из громадных жестянок без этикеток. Все вина дешевые, закупоренные, по экспертизе Бориса, как *vin ordinaire*^[65]. Согласно правилам, загубив что-либо, урон оплачивали служащие, а потому испорченное ненадолго попадало в разряд отходов. Когда официант третьего этажа уронил в шахту подъемника жареного цыпленка, приземлившегося на слой крошек, корок, липких бумажек и прочей пакости, мы вытерли его тряпкой и тут же вновь отправили наверх. С этажей доходили глухие слухи об уже побывавших в употреблении простынях, которыми без стирки, лишь увлажнив и прогладив, вновь застилали кровати. На нас патрон скупился так же, как на клиентов. В огромном хозяйстве отеля не имелось, например, ни швабры, ни совка; управляться приходилось с веником и куском картона. Уборная для персонала была достойна Центральной Азии, вымыть руки нельзя было нигде кроме раковин с грязной посудой.

Но несмотря на все это «Отель Икс» входил в дюжину самых роскошных парижских отелей и пребывание здесь стоило бешеных денег. Стандартная цена за то, чтобы переночевать (без завтрака), – двести франков. Вино и табак вдвое дороже магазинных, хотя патрон, конечно, брал их оптом, по дешевке. Если клиент являлся или же предполагался миллионером, тарифы автоматически повышались. Однажды утром гость с четвертого этажа, сидевший на диете американец, заказал к завтраку только горячую воду и соль. Валенти был взбешен: «Какого черта! А мои десять процентов? Что, десять процентов от соли и воды?!». И подал счет за завтрак – двадцать пять франков. Клиент безропотно заплатил.

По словам Бориса, то же происходило во всех парижских отелях, по крайней мере в роскошных и дорогих. Но мне кажется, что клиенты «Отеля Икс» особенно легко клевали на дутый шик, поскольку в основном это были американцы, слегка говорившие по-английски, несколько по-французски и абсолютно не имевшие представления о хорошей еде. Преспокойно могли набивать животы отвратительной американской «кашей», есть мармелад с чаем, пить вермут после обеда, и, заказав *poulet a la reine*^[66], поливать стофранковый деликатес грубым соевым соусом. Одному клиенту из Питтсбурга каждый вечер носили в спальню ужин – виноград, яичница и какао. Быть может, водить за нос подобных персон не столь уж и грешно.

Каких только рассказов не услышишь в отеле. Про наркоманов, про блудливых стариков, рыщущих по отелям смазливых боев, про воровство и шантаж. Марио рассказал про то, как горничная из отеля, где он прежде работал, украла у американки бесценное бриллиантовое кольцо. Несколько дней, не давая работать, обыскивали персонал, два детектива перерыли все сверху донизу, но ничего так и не нашли – работавший в пекарне любовник горничной запек кольцо в рулет, где драгоценность тихо и укромно дождалась прекращения следствия.

Валенти как-то в минуты отдыха поведал мне одну историю о себе:

– Знаешь, *mon p'tit*, все это здорово, когда в отеле, но когда без работы, так ни к черту. Небось сам пробовал сидеть с пустым брюхом? *Forcement*, не то тарелки бы не мыл. Ну, я-то не чертов плонжер, я официант, а тоже было дело – и мне пять дней проголодать пришлось. Пять дней, будь они прокляты, ни корки хлеба!

Чертовы, я тебе скажу, денечки. Вся радость, хоть за комнату вперед было заплачено. Жил я тогда в Латинском квартале, на улице Святой Элоизы в задрипанной гостинице, «Отель ***» – по имени какой-то здешней старинной шлюхи. Остался без куска и сделать ничего не могу, даже в кафе, куда ходят официантов брать, пойти не могу – полфранка на чашку кофе нету. Мог только койку пролеживать, слабнуть да слабнуть и на хороводы клоповые по стенкам любоваться. Я тебе так скажу, еще раз через это очень бы неохота.

В пятый день прямо ополоумел (сейчас думаю, точно тогда спятил). Висела там печатная картинка с личиком женским, давно приляпанная, вся уж выгорела, и вот разобрало меня – кто ж такая? Час прямо думал и в конце надумал – видно, самая та Святая Элоиза, которая здешняя покровительница. Раньше про все такое никогда, но тут-то, с голодухи, самое чудное дело в мозги заехало.

«*Ecoute, mon cher*^[67], – говорю я себе, – загнешься ведь при такой жизни. Давай-ка действуй. Что б вот тебе перед этой Святой Элоизой взять да и помолиться? Стань на колени, попроси деньжат послать хоть сколько. Попробуй, хуже-то небось не станет!»

Псих, да? А надо ж чем-то от голода спастись. Тем более, вреда вроде бы никакого. Слез с койки, стал молитву говорить:

«Дорогая Святая Элоиза, если ты есть, пошли ты мне, пожалуйста,

деньжат немножко. Много-то я не прошу – купить бы хоть пару буханок да винца бутылку, силенки чтоб вернуть. Франка бы три-четыре. Поможешь если, так не представляешь, как я тебя благодарить буду. Не сомневайся – как чего пошлешь, сразу пойду, свечку тебе поставлю в твоей церкви, которая вон с краю улицы. Аминь».

Насчет свечки я потому, что слышал – нравится этим святым, когда им для почета свечки жгут. Все решил сделать, конечно, как обещался. Хотя я в бога-то не верю и на особо чего не рассчитывал.

Ну вот, залез обратно в койку, а через пять минут стучат. Пришла Мария, толстуха деревенская, тоже там проживала. Дура совсем, но девка первый сорт, не хотелось перед ней дохляком показываться. Глянула она на меня и в голос:

– *Nom de Dieu!* Что это с тобой? Чего разлегся посреди дня? *T'en as une mine!*^[68] В точности покойник!

Вид у меня, конечно, был веселый – пять дней не жрал и не вставал почти, и уже дня три как не мылся и не брился. Комната тоже свинарник настоящий. Мария опять кричит:

– Да что стряслось?

– Стряслось! – говорю я. – Ни черта! Голодный! Пять дней во рту ни крошки, вот что стряслось.

Мария заохала:

– Пряма-таки ни крошки? Чего ж? Нисколько, что ли, нету денег?

– Денег! Сама ты сообрази, стал бы я голодать-то, когда бы были? Пять су в кармане и до нитки все заложено. Кругом погляди, есть тут чего продать или закладывать? Найдешь если тут на полфранка, значит умней меня.

Мария стала смотреть кругом. Ходила, тыкалась по углам в разный хлам – и вдруг прямо вся затряслась, глаза круглые, губы толстые выпятила:

– Балда! – кричит. – Дурень! А **это** что?

Смотрю, из кучи раскопала керосиновый бидон для той лампы, которую я уж давно с другим барахлом в заклад снес.

– И что? – говорю. – Бидон керосиновый, чего ж тут?

– Дурень! Ты в лавке, когда керосину отпускали, за бидон три франка залог давал?

Ну верно, три с полтиной тогда выложил. Всегда ведь за бидон велят залог оставить, а после, как бидон вернешь, деньги назад.

– Давал, чтоб их... – начал я.

– Вот балда! – орет Мария. И пляшет, так разошлась, я думал, полы

своими дубовыми башмаками проломит точно. – *T'es louf!*^[69]*T'es louf!* Чего ж обратно в лавку не бежишь залог брать? Голодает, когда у него деньги перед носом! Вот дурень!

Сам теперь не пойму, как я не сообразил обратно бидон сдать. Пять дней рядом монеты были! Голову с подушки поднял: «Живо! – кричу Марии, – выручай, чертом несись на угол, к бакалейщику! Да куснуть притащи!»

Мария молча бидон хватить и вниз по лестнице загрохотала, как слон бешеный. Трех минут не прошло, назад – в одной руке кило хлеба, в другой вина пол-литра. Не до спасибо даже было, цапнул хлеб и давай зубами рвать. А ты заметил, какой у хлеба вкус, когда долго не евши? Сырой, холодный, к языку замазкой липнет, но хорош, дьявол! А вино – я бутылку в рот опрокинул и без отрыва, и прям в жилы по всему телу сила потекла. Эх, другая жизнь!

Кило хлеба сожрал, не передохнул. Мария все стояла руки в боки, глядела, как я ел.

– Ну, – говорит потом, – получше?

– Получше! – говорю. – Куда как лучше! Одно бы еще только – закурить.

Она рукой в кармане фартука пошарила, башкой мотает:

– Не, никак. Семь су осталось, а сигарет самых дешевых пачка – двенадцать су.

– Тогда, – кричу, – будет мне курево! Ну, дьявол, во валит удача! Пять су у меня есть, как раз и хватит.

Взяла Мария двенадцать су, потопала к табачнику. А я тут кое-чего вспомнил, что вовсе из головы вон. Про эту, черт ее дери, Святую Элоизу. Я же ей свечку обещал, если денег пошлет, а разве ж не сбылось? «Франка бы три-четыре» попросил – и тут же на-ка тебе три с полтиной. Никуда, значит, не денешься, должен все денежки на свечку выкинуть. Зову назад Марию, говорю: «Не пройдет. Святая Элоиза – свечку ей обещал. На нее надо двенадцать су». И что, кретин, сам вылез? Сигарет даже после всего не купить.

– Святая Элоиза? – спрашивает Мария. – Она при чем?

– Деньжат у нее попросил и свечку обещался ей поставить, а она вот молитву приняла – денег, как ни крути, подкинула. Обида, конечно, забирает, но раз уж клятву дал, отхода нет.

– С чего это Святая Элоиза в башку тебе ударила?

– С портрета, – говорю я, – вон, на картинке.

Ну, Мария, как поглядела, от хохоту стала разрываться. Хохочет и

хохочет, бегают, за бока жирные ухватилась, сейчас лопнет. Совсем тронулась девка. Минуты две говорить не могла, потом стонет:

– Балда! Чокнутый! Ты чего, впрямь перед этой картинкой на коленках стоял, молился? Да тебе кто сказал-то, что она Святая Элоиза?

– Но теперь точно, что она, – проверено!

– Дурак ты! Не Святая Элоиза это вовсе, а знаешь кто?

– Кто?

– ***! Та самая, от которой у нас и называется «Отель ***».

Это я, стало быть, молился перед шлюхой, с наполеоновского еще времени знаменитой!

Ну и пускай, вышло-то хорошо. Мы с Марией всласть посмеялись, потолковали и вывели, что Святой Элоизе ничего я не должен. Понятно, не она мне помогла, значит и нечего на свечки ей транжириться. Так что купил я все же свою пачку сигарет.

Время шло, но «Трактир Жана Коттара» не обнаруживал признаков открытия. Однажды, в часы дневного перерыва мы с Борисом туда сходили – все по-прежнему, за исключением дополнительных непристойных картин и троих мрачных кредиторов вместо двоих. Патрон приветствовал нас с прежней благосклонностью, при этом очень расторопно обратившись ко мне (его будущей судомойке) и позаимствовав пять франков. Мои подозрения, что ресторан никогда не продвинется далее разговоров, переросли в уверенность. Патрон, однако, вновь назвал нам срок открытия «ровно через две недели, день в день!» и представил нас даме, назначенной заниматься кухней. Дама – уроженка Русской Балтии, метра полтора ростом и в бедрах метр поперек – сообщила нам, что прежде чем опуститься до кулинарии пела на сцене, бесконечно предана искусству и просто обожает английскую литературу, в особенности «Хижину дяди Тома»^[70].

За две недели я успел привычками и едва ли не всеми помыслами войти в житейскую колею плонжеров. Жизнь не особенно разнообразная. Без четверти шесть вскакиваешь как ошпаренный, заныриваешь в заскорузлую от грязи одежду и, немытый, совершенно разбитый, выбегаешь. Брезжит рассвет, фасады темные, лишь изредка светятся окна кафе для работяг. Небо как ровно выкрашенный синим кобальтом бумажный лист с наклеенными черными силуэтами крыш. Сонные чистильщики тротуаров шаркают трехметровыми метлами, стаи оборванцев что-то выуживают из помойных баков. Торопливые фигуры рабочих и молодых, попеременно откусывающих на ходу рогалики и шоколадки работниц вливаются в подземные входы метро. Мимо угрюмо громяхают переполненные, накренившиеся трамваи. Спешешь вниз к поезду, изо всех сил пробиваешься – в парижском метро в шесть утра надо буквально биться – и, стиснутый напором густой толпы нос к носу с каким-нибудь отвратительным местным типом, дышишь отрыжкой кислого вина и чеснока. Затем спускаешься в подвалы отеля, позабыв вольный воздух до двух дня, когда солнце уже палит, а город ошеломляет массой прохожих и машин.

Свой дневной перерыв я быстро приучился проводить, либо отсыпаясь, либо, если финансы позволяли, в бистро. Кроме нескольких важничавших официантов, нашей знати, все остальные расточали

временный выход на свободу тем же манером. Иногда из полдюжины плонжеров составлялась компания для посещения гнуснейшего борделя на улице Сийе, обходившегося лишь по пять с четвертью франков (чуть больше десяти пенсов). Называлось это «взять комплексный обед», детали визитов полагалось затем описывать как можно смешнее. И это был обычный, главный вариант любви. Жениться с доходом плонжера невозможно, а к тонким романтическим чувствам труды в подвалах не располагают.

Потом еще четыре часа под землей и, весь в поту, всплываешь на остывшие мостовые. Горят фонари (фонари в Париже со странным пурпурным отсветом), за рекой контур Эйфелевой башни зигзагом электрических гирлянд взлетает в небо, как огромный огненный змей. Тихо катят волны автомобилей, вдоль галереи туда-сюда прохаживаются прелестные в вечернем свете женщины. Случалось, какая-нибудь из них кидала взгляд на Бориса или меня, но, оценив непрезентабельность наших костюмов, спешила продолжить путь. Затем вторая за день битва в метро и около десяти дома. Посидеть до двенадцати я шел обыкновенно в тот подвальчик на нашей улице, который главным образом посещался артелями арабов. Местечко боевое, многократно там при мне начиналось метание бутылок, подчас с кошмарным результатом, но арабы обычно дрались между собой и христиан не трогали. Raki, арабская рисовая водка, стоила гроши; работало это быстро круглосуточно, ибо счастливчики-арабы умели целый день трудиться и всю ночь пьянствовать.

Вот такова рутинная жизнь плонжера, и временами она казалась даже неплохой. Чувство кромешной нищеты ушло, поскольку, уплатив за гостиницу, отложив нужную сумму на табак, транспорт и субботнюю пьянку, я еще располагал четыремья франками в день для мелких развлечений, а это роскошь. К тому же в столь упростившемся существовании было нечто, что трудно выразить, – некийотяжеляющий покой, похожий, должно быть, на покой вдоволь накормленной скотины. Жизнь, проще не придумать: сон – работа, работа – сон, и никаких пауз для размышлений, и внешний мир почти не трогает сознания. Париж плонжера это его отель, метро, пара ближайших бистро и кровать. «Выбраться на природу» для него – отъехать на несколько улиц подальше и, усадив на колени какую-нибудь девчонку служанку, угощать ее пивом с устрицами. Выходной – проваляться до полудня, сменить сорочку, покидать внизу костяшки, выиграв или же проиграв стаканчик, поесть и снова завалиться на кровать. В сущности, важны плонжеру лишь «работенка», выпивка и сон, причем самое главное – поспать.

Однажды ночью прямо под моим окном произошло убийство. Разбуженный дикой перепалкой, я выглянул – внизу распростертое тело, в конце улицы еще мелькают фигуры удирающих бандитов. Кто-то из жильцов, выйдя посмотреть, объявил, что человек мертв, череп проломили обрезком свинцовой трубы. Помню какой-то необычный, красно-лиловый как вино, цвет крови; помню, что, возвратясь вечером, видел труп все еще лежащим на булыжнике (целый день, мне сказали, школьники со всей округи бегали поглазеть). Но что меня теперь, оглядываясь назад, поражает, это то, что спустя три минуты я лег и заснул. Так же как остальные с нашей улицы, которые выглянули, убедились, что человека прикончили, и сразу обратно в постель. Могли ли мы, люди рабочие, из-за убийства позабыть тревогу о драгоценных, даром уходящих минутах, когда можно спать?

Голод открыл мне подлинную цену пищи, а работа в отеле – цену сна. Из физиологической необходимости сон превратился в чувственное наслаждение; не столько отдых, сколько оргия сладострастия. Кончились и мои мучения из-за клопов. Марио подсказал верное средство, каковым оказался перец. Густо наперченные простыни заставляли меня чихать, зато клопам это было просто невыносимо, и они эмигрировали в другие комнаты.

С недельными тридцатью франками на пропой я получил возможность вновь сделаться активным членом общества. Субботним вечером спускаться в бистро «Отеля де Труа Муано» и хорошенько веселиться там вместе с соседями.

В двадцатиметровый зальчик набивалось десятка два гостей. Воздух мутно густел от дыма, уши глохли от принятой манеры, открыв рот, непременно орать во все горло. Беспорядочный гвалт время от времени взрывался общей дружной песней – пели «Марсельезу», «Интернационал», или «Мадлон», или же «Ягодки и малинки». Азайя, рослая неуклюжая деваха, ломившая по четырнадцать часов на стекольном заводе, затягивала *Elle a perdu son pantalon, tout en dansant le Charlston*^[71]. Ее подруга Маринетт, смуглая тоненькая гордячка корсиканка, плотно сдвинув коленки, танцевала *danse du ventre*^[72]. Болтавшиеся между столиками старики Ружьеры клянчили рюмочку, приставаая с бесконечной запутанной историей о ком-то, кто когда-то надул их, разорив дотла. Мертвецки бледный Р. тихонько надирался в своем углу. Пьяный Шарль, то ли шатаясь, то ли пританцовывая, едва удерживая в жирной ручке бокал фальшивого абсента, тискал женские груди и декламировал стихи. Азартно (проигравший угощал) кидали кости, метали стрелы в мишень. Испанец Мануэль тащил девушек к бару, натирая игровой стаканчик об их животы, – на счастье. Мадам Ф. у себя за стойкой ловко разливала из оловянного винного крана *chopines*^[73], рядом наготове мокрое полотенце для охлаждения чувств постоянно домогавшихся ее любви клиентов. Двое сопливых ребятишек каменщика Большого Луи тянули из одного стакана сироп. Все счастливы, каждый до глубины души уверен в том, что мир этот очень приятное местечко и сейчас собрались тут лучшие из людей.

Постепенно шум несколько ослабевал. Тогда примерно около полуночи раздавалось зычное «Граждане!» и грохот опрокинутого стула. Поднявшийся с налитым кровью лицом бедокурый работяга резко стучал бутылкой по столу. Песни смолкали, вокруг шелестело: «Тс-с! Фуре завелся!». На чудака Фуре, каменотеса из Лимузена, прилежного труженика, раз в неделю накатывал припадок дикого пьянства. Контуженный и потерявший память, забывший все о довоенных временах, он бы давно спился, если бы не благое попечение мадам Ф. В субботу, часов в пять она посылала кого-нибудь «ловить Фуре, пока получку не

спустил», а когда пойманного приводили, отбирала у него деньги, оставляя лишь на одну попойку. Однажды Фуре упустили, и его, напившегося до бесчувствия, свалившего на площади Монж, едва не насмерть переехал автомобиль.

Особой странностью Фуре было то, что, являясь коммунистом, спьяну он круто выворачивал к бешеному патриотизму. Сев за столик поборником великих интернациональных принципов, после четырех-пяти литров вина вскакивал шовинистом, разоблачал шпионов, призывал громить всех иностранцев, и, не будучи вовремя укрощен, швырялся бутылками. Именно на этой стадии произносились его субботние речи. Всегда одно и то же, слово в слово:

– Граждане Республики! Есть ли тут среди вас французы? Если тут еще есть французы, я поднялся, чтобы напомнить – решительно напомнить о славных днях войны. Пробил час оживить в памяти дни единения и героизма – решительно оживить дни единения и героизма. Пробил час вспомнить павших героев – решительно вспомнить павших героев. Граждане Республики, я сам был ранен под Верденом...»

Здесь он частично раздевался, демонстрируя след своей раны. Гремели аплодисменты. Речи Фуре воспринимались нами как лучшее комическое зрелище. Это был знаменитый на весь квартал спектакль, к началу которого подходили зрители из других бистро.

Ловился Фуре всегда на одну приманку. Кто-нибудь, подмигнув, требовал тишины и просил его спеть «Марсельезу». Он запевал красивым звучным басом, начинавшем взволнованно рокотать на патриотическом призыве «*Aux armes, citoyens! Formez vos bataillons!*»^[74] Слезы катились по его щекам, наших насмешек он, в стельку пьяный, не замечал. С последней нотой парочка крепких парней хватала и валила певца, а недоступная его кулакам Азайя вопила «*Vive l'Allemagne!*»^[75] Лицо патриота до черноты багровело от такого позора. Зрители хором кричали «*Vive l'Allemagne! A bas la France!*»^[76], и Фуре яростно рвался до них добраться. Но вдруг он портил всю потеху: бледнел, грустнел, тело мгновенно обмякало и, бессильное, извергало на стол потоки рвоты. Мадам Ф., взвалив подопечного как куль, тащила его к постели – утром Фуре появится тихим и смирным, купит обычный свой номер «Юманите»^[77].

Столики протирались тряпкой, мадам Ф. приносила батареи бутылок и каравай хлеба, мы устраивались для основательной пьянки. Звучали песни. Бродячий музыкант играл на банджо, пять су за номер. Пришедшие из бистро в конце улицы араб с подругой исполняли танец, где кавалер

манипулировал раскрашенным деревянным фаллосом размером со скалку. В шуме все чаще появлялись паузы. Начинались беседы, обсуждались любовь, война, подходящие удочки для Сены, лучшие методы *faire la revolution*^[78]. Наперебой излагались истории. Успевший протрезветь Шарль захватывал здесь лидерство и минут пять разглагольствовал о своей душе. Двери и окна отворялись проветрить комнату. С пустынных улиц слышалось, как вдали по бульвару Сен-Мишель громыкает молочный обоз. Ветерок освежал лбы, скверное африканское вино еще хлебалось с удовольствием, нам еще было хорошо, но уже созерцательно; ни орать, ни смеяться больше не хотелось.

К часу ночи ощущение счастья явно меркло. В погоне за уходящим весельем мы снова требовали вина, и мадам Ф. снова его приносила, но все уже было не то. Мужчин тянуло на скандал. Девушки, которых начинали донимать поцелуями и грубо лапать, во избежание худшего удирали. Большой Луи, нализавшись, ползал на четвереньках, гавкая, изображая собаку. Надоевшего, путавшегося в ногах, его раздраженно пинали. Собеседники выясняли отношения, хватая друг друга руками и сердясь на то, что их плохо слушают. Толпа редела. Мануэль с другими столь же азартными парнями переправлялись в арабское бистро, где игроки сидели до рассвета. Шарль, заняв у мадам Ф. тридцать франков, внезапно исчезал, вероятно в бордель. Один за другим люди допивали стаканы и, коротко распрощавшись ...*sieurs, dames!*, шли спать.

К половине второго последние капли праздника испарялись, оставляя лишь головную боль. Мы больше не были счастливыми гостями счастливейшего из миров – просто жалкими работягами, которые тупо, угрюмо напились. И вино, которое мы еще продолжали лить себе в глотку, делалась гнусным пойлом. Голова пухла, как резиновый шар, пол качался, рот от пятен вина синел, будто измазанный чернилами. Продолжать становилось вконец бессмысленно. Некоторых, выходявших из бистро на задний двор, тошнило. Мы кое-как доползали до наших коек и, успев лишь наполовину снять одежду, сваливались часов на десять.

Большинство моих субботних вечеров проходило именно так. И в общем, парочка часов безумного ликующего счастья стоила тяжелой похмельной расплаты. В нашем квартале для многих, бессемейных и о семье не помышлявших, еженедельная крепкая пьянка была единственным, что делало эту жизнь годной для проживания.

На очередном субботнем собрании в бистро малыш Шарль недурно нас развлекал. Надо бы видеть его – пьяного, но несокрушимо красноречивого, как он стучит по цинковой буфетной стойке и громогласно требует тишины:

– Тише, *messieurs et dames*, потише, умоляю! Позвольте предложить вашему благосклонному вниманию историю – замечательную, поучительную историю, одну из памятных вех изысканно благородных житейских странствий. Слушайте, *messieurs et dames*!

Это случилось в дни, когда нужда взяла меня за горло. Вам, разумеется, известно, каково – дьявольски скверно! – личности сложной и утонченной в подобных обстоятельствах. Денежный перевод от семейства задерживался, все заложено до нитки и никакого выхода кроме жуткого варианта идти работать, что для меня абсолютно исключено. Жил я тогда с девицей по имени Ивонн – здоровенная безмозглая деревенщина вроде нашей Азайи, соломенные волосы и ноги бревнами. Оба мы третий день ничего не ели. *Mon Dieu*, невыразимые страдания! Девица, прижав ручки к брюху, моталась по комнате, мерзким собачьим воем выла, что помирает с голода. Мрак и ужас.

Но человеку мыслящему нет преград. Я задал себе вопрос: «Как легче всего заработать, не трудясь?». Незамедлительно возник ответ: «Легче всего, если быть женщиной; у женщин всегда найдется чем поторговать, не так ли?». И вот, в процессе размышлений о том, что бы я сам предпринял, будучи женщиной, пришла идея – государственный Дом материнства. Вам, господа, знакомы эти учреждения? Там женщину *enceinte*^[79], не донимая расспросами, кормят даром. Поощряют деторождение. Любой беременной достаточно прийти и попросить – ее тут же накормят.

Mon Dieu, подумалось мне, если бы я только был женщиной! Я бы питался в таком заведении каждый день. Разве возможно без обследования распознать, реальна ли беременность? Зову Ивонн:

- Прекрати свой невыносимый вой! Я придумал, как раздобыть еды.
- Как? – спрашивает она.
- Очень просто. Приходишь в Дом материнства, говоришь им, что беременна и голодна. Они тебя, не спрашивая ни о чем, заваливают пищей.

Ивонн перепугалась:

- *Mais, mon Dieu!* Я ведь не беременна!

– Так что же? – объясняю ей. – Какие трудности? Что тут нужно кроме подушки, в крайнем случае – двух? Это внушение свыше, *ma chere*. Не просто так.

Ну, наконец уговорил; пристроили подруге подушку на живот, и я отвел Ивонн в дом материнства. Встретили ее там с распростертыми объятиями. Дали капустный суп, рагу с картофельным пюре, хлеб, сыр, пиво и множество рекомендаций насчет младенца. Ивонн налопалась так, что едва не треснула, сумев тихонько насовать по карманам хлеба и сыра для меня. Я ее ежедневно туда водил, пока деньги из дома не пришли. Мой интеллект нас спас.

Все прошло замечательно, но год спустя (я еще жил с Ивонн) мы как-то возвращались от бульвара Порт Руаяль вдоль казарм. Вдруг Ивонн, разинув рот, заполыхала, побелела, покрылась пятнами.

– Господи! – хрипит. – Погляди, кто идет! Это ж старшая медсестра из госпиталя. Мне конец!

– Мигом, – команду я, – смываемся!

Но поздно. Медсестра узнала Ивонн и прямо к нам. Гора жирного мяса, золотое пенсне и щеки парой красных яблок. Этакая мамаша – наимвреднейший женский сорт. Сияет и воркует:

– Хорошо ли вы себя чувствуете, *ma petite*? Младенец тоже, надеюсь, здоров? Это мальчик, как вам хотелось?

Ивонн так затрясло, что пришлось руку ей намертво стиснуть. Лепечет еле-еле:

– Нет...

– Ах вот как, значит, *evidemment* – девочка?

Ивонн совсем голову потеряла и – дура полная! – опять:

– Нет...

Медсестра, отшатнувшись, кричит:

– *Comment!*^[80] Не мальчик и не девочка? А кто же?

Теперь вообразите, *messieurs et dames*, опасность положения. Ивонн багровая как свекла и вот-вот разревется; еще секунда – во всем признается. И только небо знает, что последует. Однако я – у меня голова всегда на месте. Я вмешиваюсь и спасаю ситуацию:

– Родилась двойня! – твердо говорю я.

– Двойняшки? – восклицает медсестра и кидается к Ивонн, обнимает, целует в буйном восторге.

Да, господа, двойняшки...

Мы проработали в «Отеле Икс» уже месяца полтора, когда однажды Борис вдруг не появился. Вечером я увидел его, дожидавшегося на улице Риволи, он кинулся ко мне и радостно хлопнул по плечу:

– Ура, свобода, *mon ami*! Утром можешь заявить об уходе. Трактир наш завтра открывается.

– Завтра?

– Ну, денек-другой еще, возможно, уйдет на обустройство. Как бы то ни было – кафетерию конец! *Nous voila lances, mon ami!*^[81] Фрак свой я уже выкупил.

Напористая пылкость его речей свидетельствовала, что дело не совсем чисто, да и терять прочное место в «Отеле Икс» нисколько не хотелось. Но я ведь обещал Борису, так что назавтра заявил об увольнении, а послезавтра в семь утра отправился к «Трактиру Жана Коттара». Все закрыто. Пошел разыскивать Бориса в очередном его убежище на улице Круа Нивер; нашел – спящим, причем с девицей, которую он подцепил ночью и у которой, как он успел шепнуть, оказался «весьма подходящий темперамент». О ресторане же мне было сказано, что все устроено, осталось лишь подправить кое-какие мелочи.

В десять удалось вытащить Бориса из постели, и мы отперли ресторан. Взгляду открылось содержание недостающих «кое-каких мелочей», коротко говоря – никаких изменений со дня последнего нашего визита. Ни воду, ни электричество не подвели, кухонных плит нет, зато полный набор столярных и живописных изысков. Раньше чем через десять дней ресторан мог открыться только чудом, а реальность пророчила крах заведения еще до всякого открытия. Ситуация была очевидна: сидевший без гроша патрон нанял нас (четверых штатных служащих), чтобы использовать вместо чернорабочих. Услуги наши ему доставались почти даром, так как официантам жалования не полагалось, а мне хоть и пришлось бы заплатить, но кормить пока, за отсутствием кухни, не требовалось. По сути дела, наняв персонал в недействующий ресторан, патрон обжулил нас на несколько сот франков. Мы бросили хорошую работу ради пустышки.

Борис, однако же, горел надеждой. Его обурежала единственная мысль – возможность вновь сделаться официантом и нарядиться во фрак. Во имя этого он рвался трудиться десять дней бесплатно, рискуя в результате остаться безработным. «Терпение! – продолжал он твердить. – Все само

собой образуется. Погоди, вот откроют ресторан, все с лихвой наверстаем. Терпение, *mon ami!*».

Терпения нужно было много, ибо дни шли, а ресторан даже не продвигался к открытию. Мы чистили подвал, белили потолки, красили стены, приколачивали полки, скребли полы, но главные работы – водопровод, газ, электричество – стояли из-за неоплаченных счетов. Патрон, видимо, совершенно издержался – отказывал в малейших денежных просьбах, ловко обходя их стремительным исчезновением. Сочетание плутовства с повадками аристократа создавало ему немало преимуществ в ведении дел. Беспреданно навещавшим его меланхоличным кредиторам мы неизменно, следуя инструкциям, отвечали, что хозяин в Сен-Клу, или же Фонтенбло, или каком-либо ином достаточно отдаленном месте. Мне, между тем, становилось все голоднее. Уволившись с тридцатью франками в кармане, я должен был опять перейти на сугубо хлебную диету. Борис вначале смог авансом вытащить из патрона шестьдесят франков, но половину он сразу потратил, выкупив фрак, а другой половиной вознаградил девицу подходящего темперамента, и теперь ежедневно занимал у Жюля, второго официанта, по три франка на хлеб. Несколько суток нам пришлось обходиться даже без табака.

Иногда заходила взглянуть, как движутся дела, ресторанная повариха и, обзрев по-прежнему пустую, голую кухню, ударялась в слезы. Второй официант Жюль – бывший студент-медик, оставивший учебу из-за нехватки средств, – наотрез отказался помогать с обустройством. Это был венгр, смугловатый и быстроглазый парень в очках, очень болтливый. Особенно любивший поговорить, когда другие трудятся, он рассказал все о себе и собственном мировоззрении. Исповедовал он коммунизм, хотя в форме крайне причудливой (как дважды два мог доказать вам, что труд это есть зло и вред), к тому же отличался чисто венгерской неукротимой гордостью. Лень и гордыня не лучшие свойства для официанта. Сладчайшим воспоминанием Жюля был эпизод, когда одному дерзкому клиенту он выплеснул за шиворот горячий суп, после чего, не дожидаясь увольнения, прошествовал на выход.

День ото дня Жюля все больше распаляли трюки ловчившего с нами патрона. Все выше бил фонтан гневливой трескотни. Рубя воздух взмахами кулака, агитатор подстрекал меня к бунту:

– Брось ты швабру, не дури! Мы с тобой дети гордых народов, бесплатно не работаем, мы не проклятые русские крепостные! Мне, ты пойми, все это надувательство хуже пытки. Со мной, бывало, кто-нибудь сплутует хоть на пять су, так меня рвет – да, рвет от бешенства.

И ты, *mon vieux*, не забывай – я коммунист! *A bas la bourgeois!*^[82] Кто видел, чтоб я что-то делал, если можно не делать? Никто и никогда. И я не только не позволю пахать на себе, как болваны вроде тебя, но докажу свою свободу – украду просто из принципа. Однажды занесло меня в ресторан, где хозяин решил, что я ему пес покорный. Ну ладно! Я тогда придумал, как вскрывать и опять незаметно запечатывать молочные бидоны. С вечера до утра, клянусь, возился около этого молока, хлебал его в день по четыре литра да еще сливок пол-литра. У хозяина уже ум за разум: куда девается? И не то что хотелось мне молока – материальное, ты понимаешь, я презираю, – принцип! Только из принципа.

Ну вот, дня через три такая резь началась в животе, что побежал к врачу. «Что вы едите?» – спрашивает врач. – «Пью ежедневно литра четыре молока, пол-литра сливок.» – «Четыре литра?! Немедленно прекратите, у вас желудок лопнет.» – «Ха, вот беда какая! – отвечаю врачу. – Для меня принцип это все. Пускай лопну – пить молоко не перестану».

Ну, а на следующий день хозяин ловит меня на краже, объявляет: «Я увольняю вас, уйдете в конце недели». – «Пардон, – говорю, – сударь, ухожу я прямо сейчас». – «Нет, – возражает он, – вы обязаны здесь отработать до субботы». Что ж, отлично, думаю, дорогой хозяин, мы посмотрим, кто от кого быстрее устанет. И начал как бы ненароком посуду ему колотить. Разбил за день девять тарелок, назавтра еще тринадцать – тут уж хозяин счастлив был со мной проститься.

Вот так, я не какой-то русский мужик...

Минуло десять дней. Стало совсем невесело. Деньги у меня кончились совершенно, с платой за жилье я уже почти на неделю запаздывал. Слишком голодные, то есть работники никчемные, мы лишь слонялись по унылым пустым комнатам. Один Борис еще верил, что ресторан дотянет до открытия. В страстных мечтах о должности метрдотеля им был измышлен такой сюжет: патрон вложил капитал в акции и теперь ждет благоприятной игры на бирже. К десятому дню, не имея ни крошки еды или табака, я обратился к патрону, сказал, что больше без аванса работать не могу. Неизменно любезный, патрон охотно обещал и тут же по своему обыкновению исчез. Я поплелся было домой, но почувствовал себя неспособным объясняться с мадам Ф. насчет долга, вследствие чего ночевал на бульваре. Очень некомфортабельно (ребра скамейки врезаются вам в зад) и много холоднее, чем я предполагал. До рассвета вполне хватило времени истерзать себя мыслями о том, почему я, дурак, сам, добровольно отдался в лапы этих русских.

А утром счастливый поворот. Патрон, видимо, пришел к соглашению с

кредиторами, так как явился при деньгах, дал ход дальнейшим ремонтным работам и выплатил мне аванс. Купив макароны и кусок конской печенки, мы с Борисом впервые за десять дней поели горячего.

Все недоделки устранялись спешно, с халтурностью неопишуемой. Столы, например, требовалось покрыть байкой, но, сочтя байку слишком дорогой, патрон закупил кучу старых, навеки провонявших потом солдатских одеял – под дорогими скатертями «в нормандском стиле» кто увидит? Накануне открытия мы до двух ночи принимали оборудование. Посуду, привезенную со склада лишь в восемь вечера, необходимо было еще перемыть. Поскольку доставка столовых приборов, салфеток, полотенец откладывалась до утра, тарелки вытирались рубашкой патрона и рваной наволочкой консьержки. Работали только я и Борис. Жюль прятался, патрон с супругой, кое-кем из кредиторов и компанией русских друзей сидели в баре, пили за удачу. Повариха, уткнувшись лбом в кухонный стол, рыдала – клиентов предполагалось человек пятьдесят, а площадок-поварешек едва хватало на десятерых. Чуть за полночь возник бурный конфликт с поставщиками, решившими конфисковать восемь взятых в кредит медных кастрюль. Жестоких кредиторов удалось смягчить парой стаканов бренди.

Опоздав на метро, мы с Жюлем спали подле кухонных плит. И первое, что утром предстало взору, – две громадные крысы, восседающие на столе и грызущие неубранную ветчину. Почудилось дурное предзнаменование, у меня сомнений не осталось насчет верной скорой гибели «Трактира Жана Коттара».

Взяли меня в «Трактир» плонжером, то есть я должен был мыть посуду, убирать кухню, чистить овощи, готовить чай, кофе, бутерброды, помогать у плиты и бегать с поручениями. Условия стандартные – пятьсот франков в месяц плюс кормежка, но никаких выходных и бесконечный рабочий день. Увидевший в «Отеле Икс» высший класс ресторанного дела, умело организованного при больших вложенных капиталах, я теперь познакомился с рестораном самого дрянного свойства. Об этом стоит рассказать, ведь каждому гостю Парижа хоть раз придется побывать в подобных заведениях, коих здесь сотни.

Следует добавить, что «Трактир» не принадлежал к сорту обыкновенных недорогих столовых для студентов и пролетариев. У нас в меню блюда дешевле двадцати пяти франков не значилось, нас возвышал жанр изысканно артистичный. Непристойные картины в баре, стильное средневековые (с узором фальшивых балок, электрическими лампами в виде подсвечников, «крестьянскими» расписными горшками и даже кованым дверным засовом), патрон и метрдотель русские офицеры, публика главным образом из русских эмигрантов – короче, мы решительно являли шик.

За дверью в кухню, правда, начиналось нечто вроде свинарника, причем неизбежного в наших рабочих условиях.

Кухня всего метров двенадцать и наполовину загромождена плитами и столами. Утварь на полках под самым потолком, так что не дотянуться. Единственный мусорный ящик к полудню переполнен, пол обычно покрыт дюймовым слоем растоптанных отбросов.

Газовых плит лишь три и без духовок; запечь что-либо посылали в соседнюю пекарню.

Кладовой нет. Вместо нее местечко во дворе под навесом вокруг дерева. Мясо, овощи и другие продукты хранились прямо на земле, подвергаясь постоянным набегам кошек и крыс.

Крана с горячей водой нет. Греть воду надо на плите в котле, приткнуть который, пока жарится-парится еда, некуда, и основную часть посуды я мыл холодной водой. При том что мыло липло, но не мылилось, подручным средством очистки от жира служили клочья газеты.

Кастрюль катастрофически не хватало, и, едва очередная пустела, нужно было тут же, не оставляя до вечера, кидаться ее мыть. Для меня это

означало примерно час ежедневной лишней работы.

Из– за каких-то плутней с электропроводкой, свет в кухне около восьми вечера, как правило, выключался. Патрон, пожалуй, дал бы нам три свечки, но поскольку повариха, сплеховав, три и попросила, рачительный хозяин позволял только две.

Наша кофемолка была заимствована из ближайшего бистро, наши метлы и мусорный ящик – у консьержки. Сданное после первой недели в стирку столовое белье не возвратилось по причине долга прачечной. В связи с отсутствием рабочих мест для французов грозила неприятностями инспекция по труду (после ряда частных встреч с патроном инспектор, как я полагаю, удовлетворился взяткой). Агенты все еще осаждавшей счетами электрической компании, разведав, что их подкупают аперитивами, регулярно заявлялись прямо с утра. Кредит в соседней лавке был бы давно закрыт, если б супруга бакалейщика, усатая дама лет шестидесяти, не воспылала нежной страстью к нашему Жюлю, которого каждый день первым делом отправляли обольщать кредиторшу. Кроме досадных лишних часов у раковины, я в том же духе терял время ради экономии пары сантимов на овощном базаре улицы Коммерс.

Естественные результаты дела, затеянного без достаточных финансов. И вот в таких условиях нам с поварихой нужно было кормить по тридцать-сорок посетителей, число которых могло возрасти до сотни. Задача, сразу стало ясно, непосильная. У поварихи рабочий день длился с восьми утра до полуночи, у меня – с семи до половины первого (больше семнадцати часов, практически без перерыва). Раньше пяти вечера даже присесть нам было некогда, а потом если и присесть, то лишь на крышку мусорного ящика. Борис, живший поблизости и не имевший необходимости ловить последний поезд метро, трудился с восьми утра до двух ночи – по восемнадцать часов все семь дней недели; режим не рядовой, но для Парижа отнюдь не исключительный.

Новая будничная колея быстро стала привычной, заставляя вспоминать об «Отеле Икс», как о каникулах. Каждое утро в шесть я выдергивал себя из постели и, не бреясь, не всегда сполоснув лицо, мчался к Пляс Итали и пробивался в метро. В семь оказывался среди мерзости запустения холодной, промозглой кухни – на полу месиво картофельных очисток и рыбьей требухи, на столах груды склеенных застывшим жиром грязных тарелок. С тарелок я, однако, пока вода не согреется, начать не мог и, притащив молоко, варил кофе для пришедших в восемь и рассчитывавших найти кофе горячим. Кроме того всегда требовалось вычистить несколько медных кастрюль. Эти посудины из меди – проклятие

плонжеров, их вначале минут по десять каждую отскребаешь цепями и песком, а затем полируешь специальной пастой. Слава богу, искусство их изготовления пришло в упадок, и постепенно они исчезают с французских кухонь, хотя отдельные шедевры еще можно разыскать у старьевщиков.

Только я начинал мыть тарелки, повариха требовала оставить посуду и срочно чистить лук, но только я приступал к луку, заглянувший патрон отправлял меня на базар купить капусту. Принеся капусту, я получал распоряжение жены патрона сходить в дальнюю лавку за банкой маринованных томатов; к моменту возвращения выяснялась нехватка каких-то других овощей, а посуда так и стояла немытой. Подобным образом мы громоздили кучи работы, ничего толком не успевая.

До десяти все шло сравнительно легко, мы торопились, но еще не раздражались. Повариха еще находила время поговорить о своей артистической натуре, выразить несогласие с тем, что Лев Толстой писатель *epatant*^[83], и, кроша мясо на дощечке, напевать высоким чистым сопрано. Однако в десять, когда полагалось кормить завтраком официантов и всего час оставался до прихода первых клиентов, налетал вихрь нервотрепки. Не тем неистово ревущим ураганом, что поднимался в «Отеле Икс», а бестолковой суетой, досадой, злобной мелочной склокой. В основном, из-за неудобства. Теснота жуткая, кушанья приходилось расставлять на полу и постоянно думать, как бы на них не наступить. То и дело толчки объемистого зада поварихи, сновавшей туда-сюда и беспрерывно меня распекавшей:

– Немыслимый идиот! Сколько раз говорить, со свеклой осторожней – сок вытечет! Ну-ка брысь, к раковине дай пройти! Нечего ножи чистить, срочно займись картошкой. Куда ты сунул мое сито? Брось картошку, кто за тебя будет пену снимать с бульона? Забирай скорее свой кипятилок и мой посуду. Потом мыть будешь, поруби мне сельдерей. Нет, не так, болван, а вот так! Ну конечно! Опять горох у него выкипел! Все брось и срочно займись селедкой. Тарелки вымоешь когда-нибудь? С фартука у себя гадость эту сотри! Поставь салат на пол. Поставил прямо так, чтобы я вляпалась! Смотри же, снова перекипает! Кастрюлю мне достань. Не ту, другую! Ставь сюда. Унеси очистки. Время зря не трать, кидай их на пол. Да, под ноги! Хоть бы опилок, идиот, подсыпал – пол уже как каток. Ослеп? Не видишь, бифштекс горит? *Mon Dieu*, за что мне в наказание такой кретин? Что? Кто я? Ты хоть понимаешь, что тетушка моя была русской графиней?...

Подобным образом до трех, довольно монотонно, за исключением

настигавшего повариху около одиннадцати *crise de nerfs*^[84] с морем слез. После двух до пяти затишье для официантов, но у поварихи по-прежнему масса хлопот, а для меня пик напряжения возле гор грязной посуды, которую (всю или уж по крайней мере почти всю) надо было успеть вымыть к обеду. Труд мой осложнялся первобытной оснасткой: узенький подсобный столик, чуть теплая вода, мокрые полотенца и ежечасно наглухо забивавшейся слив. К пяти мы с поварихой, еще не евшие, ни разу не присевшие, буквально валились с ног и рушились – она на мусорный ящик, я на пол. Выпивали бутылку пива, взаимно извинялись за недавние резкие выражения. Силы наши давно иссякли бы без чая, который всегда прел на плите и поглощался многими пинтами.

С половины шестого снова гонка и опять свары, еще более злобные ввиду общей усталости. Очередные *crises de nerfs* у поварихи (ровно в шесть и ровно в девять, можно было часы сверять). Повалившись на мусорный ящик, повариха истерично рыдала с криком, что никогда – нет! никогда! – не помышляла дойти до такой жизни, что нервы ее не выдержат, что она училась музыке в Вене, что у нее на руках прикованный к постели муж... В иные времена она, конечно, вызвала бы сочувствие, но нас, замученных, задерганных, ее плаксивый вой приводил просто в ярость. Жюль имел обыкновение, стоя в дверях, передразнивать эти причитания. Жена патрона постоянно ворчала. Между Жюлем и Борисом не прекращались ссоры (и в связи с тем, что Жюль отлынивал, и в связи с тем, что Борис, как старший официант, претендовал на соответствующее увеличение своей доли чаевых); уже на следующий день после открытия они начали драку из-за двух франков, мы с поварихой их разнимали. Единственный, кто всегда сохранял безупречность манер, – патрон. Он находился на рабочем месте столько же, сколько все мы, но работы у него не было никакой. Хлопоты его, помимо распоряжений о покупках, ограничивались тем, чтобы стоять в баре, курить и являть собой джентльмена, – дело, которое им исполнялось в совершенстве.

Поесть нам в кухне удавалось только после десяти вечера. Около полуночи повариха собирала пакет ворованных кусков для мужа, прятала сверток под одеждой и убегала, хныча о погубленной жизни, клятвенно обещая завтра уволиться. Жюль тоже уходил в полночь, после очередных, ежедневно повторявшихся споров с Борисом насчет того, кому работать в баре до двух. С двенадцати до половины первого я пытался закончить с посудой, и поскольку действительно вымыть тарелки времени не оставалось, чаще всего просто стирал салфеткой основную жирную грязь. Что касается грязи на полу, то к ней я даже не прикасался либо мимоходом

заталкивал самую гнусную подальше, под плиту.

В половине первого, схватив пальто, я спешил к выходу. На пути через бар меня непременно останавливал патрон, сама любезность: «*Mais, mon cher monsieur*^[85], у вас такой усталый вид! Окажите мне честь, позвольте предложить вам стаканчик бренди».

Стаканчик предлагался столь учтиво, будто я не плонжер, а русский князь. Подобным образом патрон вел себя с каждым из нас. Компенсация за труды по семнадцать часов в сутки.

Последний поезд метро обычно шел полупустым – немалое преимущество, позволявшее наконец сесть и дремать минут пятнадцать. Случалось, опоздав к метро, мне приходилось спать в ресторане на полу, но едва ли это имело значение, ибо в те дни я мог бы крепко уснуть и на булыжнике.

Так (с некоторым возрастанием нагрузки ввиду притока посетителей) прошло около двух недель. Я выгадал бы ежедневно целый час, сняв комнату поближе, но когда же было ходить искать жилье, если времени не хватало ни подстричься, ни заглянуть в газету, ни даже полностью раздеться перед сном. Дней через десять, улучив минуту, я написал своему другу Б., просил его найти мне в Лондоне какое-нибудь место, любое, лишь бы позволяло спать более пяти часов. Семнадцатичасовых рабочих дней я уже просто не выдерживал, хотя масса людей принимает это как должное. Перетрудиться – отличное средство для возбуждения жалости к себе и заодно к тысячам ресторанных парижских служащих, потеющих в том же режиме и не пару недель, а годами. В бистро возле моей гостиницы служила девушка, год проработавшая с семи утра до полуночи, причем все время на ногах. Помню, я как-то пригласил ее на танец и она, смеясь, рассказала, что уже несколько месяцев не была дальше угла улицы. Девушка эта болела чахоткой, умерла вскоре после моего отъезда из Парижа.

Недели не прошло, как от запарки все мы, кроме вечно скрывавшегося Жюля, сделались неврастениками. Ругань, поначалу периодическая, стала устойчивым климатом, морося беспросветным нудным дождем с порывами шквалистых ливней. «Дай мне кастрюлю, идиот!» – орала повариха (с ее ростом полки были недосыгаемы). – «По шее тебе дам, старая шлюха», – отвечал я. Такие реплики рождались как бы сами собой, из атмосферы нашей кухни.

Ссорились мы по причинам невообразимо мелочным. Постоянным источником раздоров являлся, например, мусорный ящик – где ему стоять: возле плит и мешая поварихе, как хотел я, или же между мной и раковиной, как хотела моя противница. Однажды она зудела и зудела, пока я, исключительно назло ей, не схватил ящик, установив его в самом центре, чтобы она об него спотыкалась:

– Ну что, кляча? Не нравится – передвинь!

Бедняга, ей, конечно, не под силу была такая тяжесть, и, припав головой к столу, она зашлась надрывным ревом. А я глумился. Характерный пример того, как усталость берет верх над хорошим воспитанием.

Довольно скоро прекратились речи поварихи о Толстом, о ее

артистической натуре, диалоги наши свелись к темам сугубо производственным, закончились также беседы Бориса и Жюля, и оба они перестали говорить с поварихой. Даже у нас с Борисом пошли разговоры сквозь зубы. Хотя мы заранее условились, что всякие служебные *engueulades* не в счет, однако чересчур сильные выражения срывались порой с языка, забыть их было трудновато, да и времени остыть, позабыть не было. Жюль совершенно погряз в лени и непрерывно крал еду – из чувства долга, подчеркивалось им. Нас, остальных, когда мы уклонялись от соучастия в покражах, он называл *jaunes*, штрейкбрехерами. Жюль обуревал своеобразный дух мщения и гнева; с чувством законной гордости он сообщил мне, что частенько, перед тем как подать клиенту суп, отжимает над тарелкой грязную мокрую тряпку – мстит представителям клана буржуазии.

Кухня все больше зарастала грязью, крысы, невзирая на несколько попавших в капканы жертв, нагнали. Окидывая взглядом эту мерзость, с ошметками сырого мяса на полу, с нагромождением остывших салных кастрюль, с липкой, забитой помоями раковиной, я сомневался, есть ли в целом мире ресторан столь же гнусный. Трое моих коллег, однако, дружно утверждали, что видели и погнусней. А Жюль, тот положительно наслаждался всяким кухонным безобразием. После полудня, когда делать ему было нечего, любил торчать в дверях, издеваясь над нашим рвением:

– Балда! Зачем их мыть, эти тарелки? Оботри об штаны. Какой смысл о клиентах заботиться? **Они** про наши дела знать не знают. Ведь что такое ресторанная работа? Разрезаешь клиенту цыпленка, птичка выскальзывает на пол – извиняешься, кланяешься и уносишь. Через пару минут появляешься из другой двери – с тем же цыпленком. Вот что такое ресторанная работа!...

И как ни странно, при всей грязи, неумелости «Трактир Жана Коттара» явно имел успех. Сначала нашими гостями были сплошь русские, друзья патрона, за ними потянулись американцы и другие иностранцы (но не французы). Наконец однажды вечером смятение, переполох – пожаловал первый француз. На время даже наши свары смолкли, все сплотились в усилия подать достойный ужин. Борис на цыпочках вбежал на кухню и, тыча большим пальцем через плечо, конспиративно прошептал:

– Ш-ш! *Attention, un Francais!*^[86]

Секундой позже заглянула жена патрона, шепча:

– *Attention, un Francais!* Позаботьтесь – и зелени и овощей двойную порцию.

Пока француз ел, патрон со своей супругой через окошко кухни

наблюдали за выражением его лица. Назавтра француз привел еще двоих французов, и это означало обретение солидной репутации (вернейший признак скверного ресторана – исключительно иностранные посетители). Возможно, успех нашего заведения более всего объяснялся тем, что в миг единственного проблеска разума патрон купил столовые ножи, действительно способные что-либо резать. Пресловутый **секрет** успешного ресторана, без сомнения, в острых ножах. Разгадка этой тайны меня порадовала, развеяв одну из чрезвычайно стойких моих иллюзий, а именно ту, что французы знают толк в настоящей еде. Или же, по меркам Парижа, наш ресторан **действительно** был неплохим? «Плохие» в таком случае трудно даже вообразить.

Буквально через несколько дней после письма к Б. был получен ответ от лондонского друга, который некое местечко мне подыскал – присматривать за врожденным дебилом. На фоне «Трактира Жана Коттара» просто отдых в курортном санатории. Тут же фантазия моя нарисовала гуляние по сельским тропам, сбивание тросточкой цветков чертополоха, жаркое из ягненка, пирог с патокой, сон по десять часов в простынях, благоухающих лавандой... Приятель посылал также пять фунтов купить билет и выволить из ломбарда одежду, и, едва деньги прибыли, я вмиг, только за день предупредив, покинул ресторан. Мой столь внезапный и стремительный уход смутил патрона, бывшего как всегда не при деньгах, недоплатившего при расчете тридцать франков. Но мне предложен был стаканчик «Курвуазье» сорок восьмого года, что патрон, видимо, счел достаточным возмещением. Вместо меня наняли чеха, плонжера опытного, а беднягу повариху месяц спустя уволили. Позднее, как я слышал, с двумя профессионалами на кухне рабочий день плонжера сократился там до пятнадцати часов. Укоротить и этот срок без полной модернизации хозяйства не сумел бы никто.

Стоит вообще поразмышлять о жизни парижского плонжера. Если задуматься, то очень странно, что тысячи жителей громадной передовой столицы тратят все часы бодрствования на мытье тарелок в душных подземных норах. Вопрос, который я хочу поставить, – для чего? Кому все это нужно и зачем? Не собираюсь возмущаться в красивой позе, попытаюсь выяснить реальный жизненный смысл.

Начать, видимо, надо с того, что плонжер – один из рабов современной цивилизации. Не обязательно о нем скулить на каждом слове (плонжер частенько зарабатывает больше иного землекопа, лесоруба), но все-таки он так же несвободен, как если бы им торговали. Труд его рабский и тупой, он получает ровно столько, сколько нужно для поддержания сил, единственная его радость в украденных кусках. Жениться он не может, либо, если уж женится, жена тоже должна работать. Кроме каких-то редкостных удач, сбежать плонжеру от своей участи некуда, разве что за решетку. И сейчас в Париже немало университетских выпускников, отмывающих тарелки по десять, по пятнадцать часов в день. Объяснять это личной склонностью к безделью нельзя – бездельники в плонжеры не идут; просто людей подмяло будничной рутинной, отключившей сознание. Если бы плонжеры сохраняли способность думать, они давно бы создали профсоюз и бастовали, добиваясь лучших условий. Однако они не думают, досуга не имеют для подобных занятий. Их режим и делает из них рабов.

Но для чего же такое рабство? Принято заранее полагать, что любые труды направлены к разумной цели. Случится увидеть кого-то за работой трудной и неприятной, сразу вывод – это необходимая работа. Шахтерский труд, например, очень тяжок, однако он необходим, нам нужен уголь. Копаться в трубах с нечистотами малоприятно, но ведь обязательно надо и там работать. Так же судят о плонжерах: раз кто-то должен пользоваться рестораном, кто-то другой должен посуду драить восемьдесят часов в неделю, и нет вопросов – требование современной культуры. С этим пунктом следует разобраться.

Действительно ли для культурной жизни позарез требуется труд плонжеров? Всякую черную тяжелую работу мы почему-то склонны считать «честной», мы прямо-таки поклоняться готовы деяниям крепких мозолистых рук. Человек рубит дерево, и мы, замороженные картиной работающих мускулов, уверены, что делается дело необходимое, полезное,

в голове даже не мелькает, что, быть может, прекрасное живое дерево губят с целью водрузить на его месте гипсовую лепнину. Нечто подобное при взгляде на плонжера. Но капающий со лба труженика пот еще не гарантирует полезности трудовых действий. Масса сил, вполне вероятно, тратится лишь на роскошь, которая зачастую и роскошью-то не является.

В пример такой отнюдь не блистательной роскоши приведу крайне выразительный, поражающий европейцев факт. Представьте индийского рикшу – запряженного в повозку человека-пони. На улицах любого центра Юго-Восточной Азии их сотни – щуплых, дочерна смуглых доходяг в жалких отрепьях. Многие явно больны, многим уже явно за пятьдесят. Под солнцем и под ливнем рысью носятся долгие часы без передышки: голова вниз, руки судорожно вцепились в дышло, пот ручьем по седым усам. Недостаточно резвых раздраженно бранят словечком *bahinchut* (грубейшее местное оскорбление^[87]). Зарабатывают рикши по тридцать-сорок рупий в месяц и за несколько лет выхаркивают свои легкие. Изможденные люди-пони быстро надрываются, превращаясь в ни на что не годный хлам. Их силы господа подпитывают заменяющим кормежку хлыстом. Тут беговая скорость по формуле «еда плюс кнут равняется энергии», причем кнута процентов шестьдесят, а еды – сорок. Шея человека-пони порой сплошная язва, его кожа под упряжью стирается до кровоточащего мяса. И тем не менее он еще может бегать, надо только нахлестывать так, чтобы боль ударов по спине была сильнее боли в груди. А если уж и хлыст не помогает, пора сдавать клячу на живодерню. Вот образчик ненужного труда, ведь никакой действительной необходимости в рикшах нет, люди-пони существуют лишь потому, что на Востоке так принято. Они для роскоши, и каждый, кому доводилось ездить в их повозках, знает, сколь убога эта роскошь. Ничтожный, мизерный комфорт за счет повального голода, вынуждающего нищих страдать с терпением и равнодушием жвачных животных.

Возвращаясь к плонжеру. В сравнении с рикшой он, конечно, король, однако случай аналогичный. Это раб отеля или ресторана и рабство его в общем-то без надобности. Есть ли, в конце концов, **жизненная** потребность в шикарных ресторанах и отелях? Предполагается, что они дарят мир удовольствий, но дарят ведь они только дрянную пошлую имитацию. Недаром большинство людей гостиницы терпеть не может. У каких-то ресторанов кухня получше, но за деньги, которые с вас там сдерут, домашняя еда будет значительно вкуснее. Рестораны и отели безусловно нужны, и все же нет необходимости сгонять туда толпы рабов. А почему без них не обойтись? А потому что надо обязательно пускать клиентам

пыль в глаза. Демонстрировать «шик» – попросту говоря, раздувать штат прислуги и соответственно поднимать цены. Выгодно исключительно владельцу, который купит себе славенькую виллу в Довиле. По сути, «шикарный» отель это такое место, где сотня людей дьявольски вкалывает, чтобы сотни две других людей, морщась, оплачивали то, в чем вовсе не нуждаются. Если бы в ресторанах и отелях отказались от ерунды и занимались только делом, плонжеры управлялись бы с работой не за десять-пятнадцать часов, а всего за шесть или восемь.

Допустим, мы установили, что труд плонжера, в общем, бесполезен. Тогда откуда, спрашивается, желание сохранять этот вид труда? Попробую, не трогая причин чисто экономических, показать, каким милым ощущением может сопровождаться мысль о людях, обреченных всю жизнь соскребать грязь с тарелок. Ведь многим (многим из живущих весьма неплохо) эта мысль несомненно мила. Как утверждал Катон^[88], раб должен работать всегда, когда не спит. Нужен или не нужен его труд, неважно; он должен работать, так как работать само по себе хорошо – для рабов, во всяком случае. Тезис живучий, на его основе и наворочены горы всяческой бесполезной траты сил.

Я полагаю, инстинктивное желание навеки сохранить ненужный труд идет просто из страха перед толпой. Толпа воспринимается как стадо, способное на воле вдруг взбеситься, и безопаснее не позволять ей от безделья слишком задумываться. У богатых людей, склонных к честному размышлению, вопрос об улучшении жизни работяг обычно вызывает следующий ход мыслей:

«Да, разумеется, нищета очень огорчительна. А впрочем, эта неприятность нас не касается и грусть об этом не особенно мешает всем нашим радостям. И что-то делать, переделывать мы совершенно не собираемся. Нам жаль вас, бедные низшие классы, жаль вас, как киску в лишаих, но мы зубами и когтями будем драться против любого улучшения вашей жизни. В нынешней ситуации вы явно не столь опасны. Сейчас мы общим положением дел довольны и не рискуем увеличивать вашу вольность хотя бы на час в день. Так что, братья дорогие, придется уж вам попотеть, отрабатывая наши прогулки по Италии. Потейте, и черт с вами!».

Такова же позиция умных и образованных, в чем легко убедиться, читая сотни интеллектуальных эссе. Высокообразованные люди редко имеют меньше четырех сотен фунтов в год и, естественно, держат сторону богачей, воображая, что свобода бедняков угрожает их собственной свободе. Полагая альтернативой некий мрак социальной утопии по Марксу, человек тонкого воспитания предпочитает оставить все по старому. Его,

возможно, не приводят в восторг повадки богачей, но даже их вульгарность ему ближе и менее обременительна, чем проблемы нищих трудяг. Из боязни предположительно опасной толпы почти всякий образованный умник становится консерватором.

Страх перед толпой – страх суеверный, он основан на убеждении в непостижимом коренном отличии расы богатых от расы бедных. Но нет ведь никакой такой границы. Деление на бедных и богатых определяется доходом, лишь его суммой; рядовой миллионер – тот же рядовой мойщик тарелок в ином костюме. Поменяйте их местами и кто есть кто? Где грязь, где князь? Все это станет очень ясно, если сам без гроша покрутишься среди народа малоимущего. Но беда в том, что люди с образованием и воспитанием, люди, вроде бы призванные утверждать либеральные взгляды, никогда среди бедных не обретаются. Вообще, что большинство культурных граждан знает о бедности? Для публикации моего перевода стихов Вийона вдумчивый редактор счел нужным дать специальный комментарий к строчке *Ne pain ne voyent qu'aux fenestres*^[89] – настолько непонятен ценителям поэзии голод. С подобными пробелами в знаниях суеверный ужас перед толпой возрастает вполне органично. Образованному человеку видятся орды полужверей, рвущих рабские цепи лишь затем, чтобы разграбить его дом, сжечь его книги, а самого его заставить работать у станка или чистить уборные. «Пусть что угодно, – думает человек образованный, – пусть любая несправедливость, только бы удержать толпу в узде». Не видится, что при отсутствии врожденных различий между массами богачей и бедняков нет и проблем освободившейся толпы. Толпа фактически уже теперь свободна – толпа богатых, своей властью учредивших громадные каторжные цеха типа «шикарных» отелей.

Подведем итог. Плонжер – раб, причем раб никчемный, исполняющий тупую, в основном бесполезную, работу. Его держат при таком деле, главным образом, из-за смутного подозрения, что, получив больше досуга, он может стать опасным. И культурные люди, от которых должны бы идти помощь и сострадание, внутренне одобряют его рабство, так как ничего про сегодняшних рабов не знают и потому сами их опасаются. Я говорю о плонжере, рассмотрев именно его случай, но то же в равной степени применимо к бесчисленному множеству профессий. Это лишь мое собственное мнение насчет причин существования плонжеров, соображения вне важнейших вопросов экономики и, несомненно, весьма банальные. Просто кое-что из мыслей, навеянных трудами у ресторанной кухонной раковины.

Покинув «Трактир Жана Коттара», я сразу же лег спать и спал почти сутки. Затем впервые за полмесяца почистил зубы, вымылся, сходил подстричься, выкупил одежду из ломбарда. И два дня восхитительного безделья. Я даже, надев лучший свой костюм, посетил наш «Трактир» – небрежно прислонившись к стойке бара, кинул пять франков за бутылку английского пива. Прелюбопытно заявиться праздным гостем туда, где был последним из рабов. Борис очень жалел, что я уволился как раз тогда, когда мы наконец lances и совсем скоро должны были начать купаться в золоте. Позднее я получил от Бориса весточку, где сообщалось, что у него чаевых по сотне в день, а также новая подружка, барышня *tres serieuse*^[90] и никогда не пахнет чесноком.

Целый день я провел, обходя наш квартал и со всеми прощаясь. Напоследок выслушал рассказ Шарля про финал старика Руколя, нищего, обитавшего здесь раньше. Шарль, вероятно, как всегда сильно привирал, но история была славная.

Умершего за пару лет до моего приезда в Париж Руколя еще частенько вспоминали. Не Даниэль Дансер^[91], масштаб помельче, однако тоже интересная фигура. В свои семьдесят четыре года старик каждое утро шел на рынок подбирать овощную гниль, ел кошатину, вместо белья обертывался газетой, топил печь фанерной обшивкой комнаты, штаны себе смастерил из мешка – и все это, имея на счету в банке полмиллиона. Хотелось бы мне лично с ним познакомиться.

Как многих нищих, Руколя сгубила рискованная инвестиция. Однажды в квартале замелькал бойкий и деловитый еврейский парень с первоклассным планом доставки в Англию контрабандного кокаина. Конечно, купить кокаин в Париже довольно просто, да и перевезти его тайком несложно, только вот обязательно какой-нибудь стукач донесет в таможенную или полицию. Доносят, считалось вокруг, сами торговцы кокаином, так как вся контрабанда в руках синдикатов, не желающих конкуренции. Парень, однако, уверял, что опасности никакой: у него есть путь прямо из Вены, в обход известных каналов и без посредников-вымогателей. На Руколя он вышел через поляка, студента Сорбонны, готового вложить четыре тысячи, если Руколь даст шесть. Хватило бы закупить десять фунтов кокаина, нажив потом изрядный капитал.

Поляк и еврей чуть не надорвались, вытягивая деньги из старого

Руколя. Шесть тысяч для него было немного (в его матрасе хранилось гораздо больше), но он испытывал смертные муки, расставаясь с каждым грошом. Неделью без перерыва дельцы объясняли, наседали, доказывали, уговаривали, умоляли. Старик ополоумел, разрываясь между жадностью и боязнью. При мысли о возможном барыше в пятьдесят тысяч у него кишки сводило спазмой, но пересилить себя и рискнуть деньгами он не мог. Так и сидел в углу, обхватив голову руками, постанывая, временами дико вскрикивая, то и дело падая на колени (он был чрезвычайно набожен) и моля ниспослать ему силы. И никак не решался. И внезапно – более всего от изнеможения – решился: вспорол свой матрас с деньгами, выдал ровно шесть тысяч.

В тот же день еврей притащил кокаин и вмиг исчез. Между тем, как и следовало ожидать, благодаря шумным стенаниям Руколя сделка стала известна всему кварталу; уже следующим утром нагрянула полиция.

Поляка и Руколя обуял ужас. Полиция внизу, обшаривают комнату за комнатой, а на столе увесистый пакет кокаина, и спрятать некуда, и лестница перекрыта, сбежать нельзя. Поляк готов был выкинуть порошок в окно, но Руколь даже слышать об этом не хотел. Шарль рассказывал, что был свидетелем драматической сцены: едва попробовали взять пакет у Руколя, тот прижал кокаин к груди и, несмотря на свой преклонный возраст, дрался как бешеный. Обезумев от испуга, он все-таки скорее пошел бы в камеру, чем выкинул сокровище.

Наконец, когда полицейские уже обыскали первый этаж, кто-то подал идею. У соседа Руколя, мелкого коммерсанта, имелась на продажу дюжина банок дамской пудры – предложено было в эти банки насыпать кокаин, выдав за безобидную косметику. Пудру мигом вытряхнули в окно и заменили кокаином, банки демонстративно, как предмет самый невинный, расставили по столу. Через пару минут вошла полиция. Простучав стены, обследовав половицы, заглянув в дымоход, вывернув наизнанку драные кальсоны и ничего не обнаружив, бригада собиралась уходить, когда инспектор заметил стоящие на столе банки:

– *Tiens!*^[92] Еще кое-что, сразу и внимания не обратил. Что это, а?

– Дамская пудра, – проговорил поляк со всем возможным в его состоянии спокойствием.

Но тут Руколь так громко, тревожно застонал, что полиция насторожилась. Одну из банок открыли, содержимое высыпали, инспектор, понюхав, уверенно признал кокаин. Руколь и поляк начали клясться всеми святыми, что это пудра, – бесполезно, чем горячее они клялись, тем больше вызывали подозрений. Парочку арестовали и под конвоем повели к

ближайшему участку.

В участке начался допрос у комиссара, а банку с порошком отослали в лабораторию. По словам Шарля, Руколь вел себя неопишимо. Он молил, плакал, заявлял то одно, то совершенно обратное, вдруг зачем-то выдал поляка и при всем том непрерывно голосил на всю улицу. Полицейские просто лопались от смеха.

Через час возвратился посланец с банкой кокаина и заключением эксперта. Улыбаясь, сказал:

– Это не кокаин, *monsieur*.

– Нет? Не кокаин? – изумился комиссар. – *Mais, alors*^[93] – что?

– Дамская пудра.

Поляка и Руколя сразу же отпустили, вполне оправданных, но жутко злых. Еврейский парень их попросту надул. Впоследствии, когда волнения утихли, выяснилось, что ту же шутку он сыграл еще с двоими из нашего квартала.

Поляк рад был отделаться, пусть даже потеряв четыре тысячи, но несчастный старик Руколь был совершенно раздавлен. Придя домой, он слег, и уже за полночь все еще слышались его вопли:

– Шесть тысяч франков! *Nom de Jesus Christ!* Шесть тысяч!

На третий день его хватил удар, а спустя две недели он скончался. От разбитого сердца, как пояснил Шарль.

До Англии я добирался третьим классом через Дюнкерк и Тилбери (самый дешевый и не самый худший путь через Канал^[94]). Поскольку за каюту надо было доплачивать, вместе с большинством пассажиров третьего класса я спал в салоне. Некоторые наблюдения из моего дневника:

«Ночевка в салоне; двадцать семь мужчин, шестнадцать женщин. Наутро никто из женщин не умывался. Мужчины почти все отправились в ванную комнату, а женщины просто достали свои зеркала и припудрили несвежие лица. **Вопрос:** вторичный половой признак?».

Со мной ехала молодая румынская пара, сущие дети, совершавшие свадебное путешествие. Их любопытство к неизвестной Англии я удовлетворял чудовищным враньем. По дороге домой, после долгих тягот в чужом городе Англия виделась мне вариантом рая. Действительно, многое зовет вернуться на английскую землю: ванны, кресла, мятный соус, должным образом приготовленный молодой картофель, хлеб с отрубями, апельсиновый джем, пиво из настоящего хмеля – великолепно, если есть чем заплатить. Англия восхитительная страна для того, кто не беден, а я, имея перспективу надзора за дебилом, бедным быть, разумеется, не собирался. Мечта о скором блаженном житье очень подогревала патриотизм. Чем больше вопросов задавали румыны, тем шире разливались мои хвалы всему английскому: климат, пейзаж, поэзия, музеи, законы и права – сплошное совершенство.

– А хороша ли в Англии архитектура?

– Блистательна! – отвечал я. – Одни лишь лондонские монументы чего стоят! Париж вульгарен: или грандиозно, или убого. Но Лондон!...

Тем временем пароход подошел к Тилбери. Первое здание у причала несомненно было отелем – чудовищный оштукатуренный барак, мелкие башенки которого паялись с берега наподобие глядящих со стены клиники кретинов. Слишком вежливые для каких-либо замечаний, румыны молча косились на отель. «Выстроен по французскому проекту», – уверил я. И даже когда поезд проползал сквозь трущобы восточных лондонских районов, я продолжал настаивать на красотах местного зодчества. Не было слов, достойных выразить прелесть Англии, теперь, когда я, вырвавшись из нужды, приближался к благополучию.

В офисе моего друга Б. все разом рухнуло. «Мне очень жаль, – встретил меня приятель, – но твои наниматели уехали за границу и

пациента увезли. Впрочем, они должны вернуться через месяц. Пока, надеюсь, продержишься?»

Я оказался за порогом, даже не сообразив занять еще немного денег. Впереди месяц ожидания, а в кармане всего-навсего девятнадцать шиллингов шесть пенсов. Новость меня сразила. Долго не удавалось собраться с мыслями. Весь день я проболтался по улицам, а ночью, слабо представляя, где найти в Лондоне дешевое пристанище, пошел в «семейный» отель-пансион. Заплатил семь с половиной шиллингов – осталось десять шиллингов и два пенса.

Утром составил план. Хотя, конечно, рано или поздно придется обратиться за помощью к Б., сейчас это все-таки неудобно, и на какой-то срок необходимо затаиться. Опыт научил меня не закладывать лучшие вещи. Всю одежду я оставил в вокзальной камере хранения, взял только не совсем новый костюм, который думал обменять на более поношенный, выиграв при этом около фунта. Собираясь месяц прожить на тридцать шиллингов, я должен был одеться плохо, буквально «чем хуже, тем лучше». Реально ли растянуть тридцать шиллингов на месяц, я понятия не имел, в Лондоне я ориентировался совсем не так, как в Париже. Может, милостыню просить или же торговать шнурками для ботинок? Из воскресных газет мне помнилось про нищих, у которых зашито за подкладкой тыщонки две. Во всяком случае, было точно известно, что голод в Лондоне не грозит, хотя бы об этом я мог не беспокоиться.

Продавать свой костюм я отправился в Лэмбет, бедняцкий район, где всюду торгуют ношеным тряпьем. В первой лавке, куда я сунулся, хозяин был вежлив, но бесполезен, во второй – крайне невежлив, в третьей – глух как пень или же притворялся таковым. Четвертый торговец, блондинистый мясистый малый, весь розовый как ломоть ветчины, оглядев меня, быстро и пренебрежительно пощупал ткань:

– Жиденский материалчик, прям дешевка (костюм был добротный и дорогой). Почем сдаешь?

Я объяснил, что хотел бы получить одежду пониже качеством плюс разницу в цене, на его усмотрение. Секунду он размышлял, потом набрал каких-то замызганных тряпок и кинул мне. «Как насчет денег?» – напомнил я, уповая на фунт. Торговец поджал губы, посопел и выложил возле тряпок **шиллинг**. Я не собирался спорить с ним, но поскольку невольно открыл рот, он сделал движение, якобы забирая монету, – верно оценил мою беспомощность. Мне было позволено переодеться в задней комнатке.

Полученное старье состояло из пиджака, в свое время темно-коричневого, пары черных холщовых брюк, шарфа и матерчатой кепки.

Рубашку, носки и ботинки я оставил свои, в карман переложил расческу и бритву. Очень странное ощущение возникло в новом наряде. Мне и раньше случалось плохо одеваться, но ничего хоть сколько-то подобного. Вещи были не просто мятыми и грязными, их отличала – как бы это выразить? – некая благородная ветхость, некая, вовсе не похожая на пошлую заношенность, патина старинной тусклой блеклости. Виды такой одежды демонстрируют бродяги или продавцы спичек. Часом позже на улицах Лэмбета мне встретился какой-то бредущий с видом нашкодившего пса субъект, явно бродяга; присмотревшись, я узнал самого себя в витринном зеркале. И лицо уже покрыто пылью. Пыль чрезвычайно избирательна: пока вы хорошо одеты, она минует вас, но лишь появитесь без галстука, облепит со всех сторон.

На улицах я оставался до самой ночи, причем безостановочно ходил, серьезно опасаясь, что ввиду костюма полиция примет меня за попрошайку и арестует. Говорить я тоже не осмеливался, воображая, что будет замечено несоответствие между произношением и одеянием (страх, как я впоследствии убедился, напрасный). Новый мой костюм мгновенно перенес меня в новый мир. Отношение ко мне круто изменилось. Лоточник, которому я помог собрать рассыпавшийся товар, кинул с улыбкой: «Спасибо, браток». До сей поры «братком» меня никто не называл – эффект соответственной одежды. Впервые я заметил, как меняется в связи с вашим костюмом поведение женщин. Когда рядом проходит человек в мятом вылинявшем пиджаке, их передергивает и они брезгливо отшатываются, как от дохлой кошки. Одежда – мощнейшая вещь. В отрепьях сложно, по крайней мере поначалу, преодолеть ощущение действительной собственной деградации. Такое же чувство позора, неясного и тем не менее весьма чувствительного, испытываешь первой ночью в тюрьме.

Ближе к одиннадцати я стал высматривать ночлег. Зная по книгам о ночлежках (кстати, ночлежками они никогда не именуются), я полагал найти спальное место пенса за четыре. Приметил на обочине Ватерлоо-роуд какого-то работягу в спецовке и обратился к нему. Сказал, что без гроша, хотел бы переночевать как можно дешевле.

«Ага, – кивнул он, – там вон, на ту сторону поди, надписано где над дверями „Тихий Отдых для Бессемейных Мужчин“. Точно, отличный кип [\[95\]](#), я сам ходил. У их там дешево да еще **чисто**».

Окна торчавшей на указанном месте развалюхи едва светились, темнея заплатами выбитых и заклеенных бумагой стекол. В кирпичном коридоре навстречу снизу вышел худосочный, с заспанными глазами мальчишка. Из подвала послышался смутный шум, плеснуло жаркой, отдающей сыром

затхлостью. Мальчишка, зевая, подставил ладонь:

– Кип надо? Гони бычок, и все дела.

Заплатив шиллинг, я вслед за мальчишкой по темной шаткой лесенке поднялся в спальню. Сладковато воняло больничной палатой и грязным бельем; окна, видимо, были наглухо забиты, вначале показалось, что воздуха просто нет. Горящая свечка позволила различить низкую комнату площадью метров двадцать и вмещавшую восемь коек. Шестеро квартирантов уже лежали, бдительно свернув рядом всю снятую одежду, включая поставленные сверху башмаки. В углу кто-то кошмарно, мерзейшим образом кашлял.

Постель оказалась жесткой как камень, подушкой служил валик, по твердости не уступавший бревну. Спать тут было хуже, чем на столе, – кровать гораздо короче стандартной, очень узкая, и матрас таким горбом, что приходилось напрягаться, удерживая себя от падения. Смердящие застарелым потом простыни я был вынужден отодвинуть подальше от носа. К тому же вместо одеяла тоненькая хлопковая накидка, и согреться при всей духоте трудно. И постоянная возня вокруг. Примерно через каждый час мой сосед слева, матрос вероятно, просыпался и, кляня бога с дьяволом, закуривал. Другой жилец, жертва простуженного мочевого пузыря, раз шесть за ночь вставал, чтобы шумно использовать ночной горшок. Квартировавшего в углу каждые двадцать минут терзало кашлем, регулярный накат приступа ожидался, как ждешь очередной рулады воющей на луну собаки. Звук этого кашля не описать; человек хрипел, давился, будто ему все нутро выворачивало. Он как-то чиркнул спичкой – осветилось старческое лицо, впалые серые щеки покойника и намотанные для тепла на голову штаны (манера, которой я, должен признаться, не выношу). Всякий раз в ответ на кашель старика или ругань матроса летели сонные крики:

– Заткнись! Заткнись к черту, чтоб тебя...!

Спал я в общей сложности не больше часа. Утром проснулся со смутным впечатлением придвинутого ко мне крупного темного предмета. Открыв глаза, увидел прямо перед своим лицом закинутую на мою кровать матросскую ступню. Ступня была очень смуглой, смуглой как у индусов, но от грязи. Стены пестрели пятнами, цвет сыроватых, недели три не стиранных простынь достиг оттенка довольно плотной умбры. Я оделся и пошел вниз. В подвале обнаружилось несколько стоящих в ряд чугунных ванн, висела пара скользких мокрых полотенец на роликах. Имея при себе кусочек мыла, я уже хотел приступить к мытью, когда заметил, что внутренние стенки ванн чернеют грязью – слоем жирной липкой грязи, не

светлее сапожной ваксы. Ушел немытым. Заведение по всем статьям не отвечало рекомендации «дешево да еще **чисто**». Зато, как мне позже открылось, оно было типичнейшей ночлежкой.

Перейдя мост и прошагав довольно далеко к востоку, я наконец решил зайти в торговое кафе на Тауэр-хилл. Лондонское торговое кафе, каких тысячи, показалось мне после Парижа необычным и иностранным. Душноватый зальчик со скамьями, высокие спинки которых хранили моду прошлого столетия, с меню, написанном обмылком по зеркалу, и подавальщицей, девчонкой лет четырнадцати. Работяги жевали что-то из собственных газетных свертков и пили чай из похожих на керамические стаканы чашек без блюдец. Сидевший особняком в углу еврей, уткнувшись в тарелку, жадно и виновато ел бекон.

– Нельзя ли чая и хлеба с маслом? – спросил я юную официантку.

Она оторопела. Удивленно таращась, ответила: «Масла нету, только марг». И повторила буфетчику мой заказ фразой, столь же присущей Лондону, как вечный *coup de rouge*^[96] Парижу:

– Полный чай с двойным бутером!

На стене рядом со мной висела табличка, предупреждавшая «Уносить сахар воспрещается», а ниже некий поэтического склада гость приписал:

Кто упрет отсюда сахар,
Того надо послать на...,

но кто-то еще не пожалел сил соскрести последнее слово. Это была Англия.

После стоившего три с половиной пенса чая-с-двойным-бутером у меня осталось восемь шиллингов и два пенса.

Восемь шиллингов были растянуты на три дня и четыре ночи. После неудачной пробы на Ватерлоо-роуд^[97] я перебрался еще дальше к востоку и следующую ночь провел в ночлежке на Пеннифилдс. Заурядная лондонская ночлежка из тех, которые могут принять от полусотни до сотни постояльцев и управляются «полномочными», – наличие этих доверенных представителей владельцев свидетельствует о хорошем достатке хозяев, то есть о выгодности предприятий. В спальнях коек по пятнадцать-двадцать, постели опять-таки жесткие и холодные, но простыни – уже прогресс – постираны не далее чем неделю назад. Цена ночлега девять пенсов или шиллинг (за шиллинг спальня с койками длиной шесть футов вместо обычных четырех), платить положено наличными до семи вечера либо когда выходишь на улицу.

Внизу общая кухня с предоставленными всем и бесплатно дровяной плитой, бачком для чая, кое-какой утварью, тостерными вилками. Кроме того горящие круглые сутки в любой сезон две кирпичные печи. Топили, убирали и застилали койки поочередно сами жильцы. За старшину был похожий на викинга красавец Стив, портовый грузчик, слывший тут «головой», решавший споры и выставлявший неплательщиков.

Кухня мне нравилась. Глубокий низкий подвал, дремотная жара с дымком кокса, свет только от печных огней и по углам густые бархатные тени. С веревок под потолком свисает мокрое тряпье. Мелькая багровыми бликами, жильцы, главным образом грузчики, докеры, топчутся у плиты со своими площадками; некоторые совсем голышом, так как одежду постирали и теперь сушат. Вечерами игра в карты (в «нап» – «наполеон») или в шашки и песни: самая любимая – «А я парнишка, горе злое отца с матерью», вторая по частоте исполнения – про гибель корабля. Иногда поздней ночью притаскивается и делится на всех ведро купленных по дешевке моллюсков. Дедеж съестного был в обычае, при этом считалось само собой разумеющимся подкармливать безработных. Иссохший бледный человечек, явно одной ногой в могиле, все рассуждавший «Браун-то, как к доктору сходимши, и помер враз», постоянно кормился за счет такого рода угощений.

Среди постояльцев пара-тройка дряхлых пенсионеров. Я раньше даже не подозревал, что в Англии есть люди, которые живут лишь на положенную ввиду преклонных лет пенсию десять шиллингов в неделю.

Никаких иных ресурсов у этих старцев не имелось. Одного из них, любителя почесать языком, я спросил, как ему удастся существовать.

– А чего ж тут, – ответил он. – По девяти пенсов за кип – это те на неделю пяток шиллингов да три пенса. Потом клади три пенса, чтоб в субботу щетину поскоблить, – это те пятерик да шесть. Потом, гляди-ка, волос постричь хотя раз в месяц – еще, значит, пару пенсов накинь. И станется те на неделю четверик да четыре пенса для пищи и чтоб курнуть.

О каких-либо других тратах старик не помышлял. Питался чаем и хлебом с маргарином (к концу недели вчерашним хлебом и чаем без молока), одежду наверно получал в пунктах благотворительности. И выглядел довольным, превыше еды ценя теплый угол и постель. Однако же, из жалких пенсионных десяти шиллингов еще уделять деньги на бритье – внушает благоговейный трепет.

Целый день я болтался по улицам между Уоппингом и Уайтчеплом. Все так странно после Парижа: все вокруг гораздо чище, гораздо тише и скучней. Не слышно ни грохота трамваев, ни кипучей шумной возни боковых улочек, ни громохання марширующих через площади военных. Прохожие одеты лучше, лица мягче, спокойнее, однообразнее, без вызывающего жесткого индивидуализма французов. Меньше пьяных, меньше грязи, меньше ругани и больше бездельников. На всех углах кучки зевак, слегка оголодавших, подкрепляющих себя лишь чаем-с-бутером, блюдом, необходимым лондонцу каждые два часа. Сам воздух, кажется, лишен парижской лихорадочности. Там, в Париже, страна стаканчиков вина и потогонной системы, а здесь страна чашечек чая и трудовых договоров.

Интересно было наблюдать за толпой. Женщины в Ист-энде^[98] хорошенькие (возможно, результат смещения кровей), Лаймхауз щедро приправлен Востоком – и китайцы, и отпущенные в увольнение моряки-индийцы, и торгующие шелковыми платками дравиды, и даже несколько бог знает как попавших сюда сикхов. Повсюду уличные митинги. На Уайтчепле некто, именовавший себя Гласом Евангельским, ручался за шесть пенсов уберечь вас от преисподней. На Ост-Индия-док-роуд Армия спасения проводила церковную службу, в пении псалма «Кто подобен Иуде лживому?» отчетливо звучал мотивчик «Кому охота с пьяной матросней?». На Тауэр-хилл пытались воззвать к публике двое мормонов. Осаждавшая площадку аудитория горланила и не давала говорить. Кто-то обличал мормонов за многоженство; хмурый бородач, как видно неколебимый атеист, яростно прерывал ораторов, едва слышалось слово «бог». Шум, гам, перепалка:

«Дорогие друзья! Если позволите, нам бы хотелось вам сказать...» – «Пускай доскажут, имеют право, не встревай!...» – «Нет-нет, ты мне прежде ответь: ты можешь своего бога **показать**»? **Покажь** давай, тогда и верить в его буду...» – «Да заткнись, хватит к им вязаться!...» – «Сам заткнись! Многоженцы е...!» – «А че ж, нам многоженство не без пользы, взять хоть е... девок фабричных...» – «Дорогие друзья, если б вы только позволили...» – «Нет-нет, ты не виляй, ты говори: **видал** бога-то? За **руку**, что ль, здоровался?...» – «Да не встревай, черт тебя подери, ну **не встревай** же!»...

Минут двадцать я стоял, ожидая узнать что-нибудь о мормонах, но митинг далее бурлящей свары не продвинулся. Обычный удел всех митингов.

На Мидлсекс-стрит сквозь базарную толчею продиралась замызганная оборванка, волочившая пятилетнего шкета. Тот ревел благим матом, а мамаша размахивала у него перед носом жестяной дудкой.

– Игратья? – орала она. – Думает, взятый, чтоб вот токо дудку ему купи? Давно не драла тебя? **Щас**, ублюдочек сопливый, ты у меня поиграешься!

Из дудки капельками падала слюна. Визжа в два голоса, мамаша с отпрыском исчезли. Очень и очень странно после Парижа.

Накануне вечером при мне в ночлежке на Пеннифилдс сцепились два жильца, сцена была гнетущая. Один из стариков-пенсионеров, лет семидесяти, голый до пояса (он стирал), бешено, срываясь на крик, поносил отвернувшегося к печке коренастого грузчика. Хорошо освещенное огнем, лицо старика дергалось от обиды и гнева. Видимо, случилось что-то серьезное.

Старикан: Ах ты...!

Грузчик: Заткни пасть,... старый, пока я те не двинул!

Старикан: Ну-ка, попробуй, ты,...! Я хоть старее годов на тридцать, а токо тронь, так в морду врежу – мочой весь завоняешь!

Грузчик: Ох, кабы я тя после на части не развалил, старый...!

Так продолжалось минут пять. Окружающие сидели, понурившись, ссору старались не замечать. Тем временем грузчик мрачнел, а старикан все больше входил в раж. Подскакивал к противнику, кричал ему чуть ли не в самое лицо, шипел, плевался, как разъяренный кот. Пробовал даже нервно, не совсем удачно, ткнуть кулаком. Наконец взорвался:

– ...! Вот ты кто – ...! Пососи-ка своим вонючим ртом! Я те... своим глотку заткну!... ты, больше ничего,... сучье отродье! На-ка, облизни!... ты!...!...! УБЛЮДОК ЧЕРНОМАЗЫЙ!

Выкрикнув это, старик вдруг рухнул на лавку, прижал к лицу ладони и завыл. Противник, видя, что народ настроен против него, ушел.

От Стива я потом узнал причину ссоры: все из-за съестного на какой-нибудь шиллинг. По некоторым причинам старик остался без своего хлеба с маргарином и трое суток ему предстояло питаться только угощением соседей, а грузчик, имевший работу и хороший сытный кусок, позубоскалил над стариком, отсюда и скандал.

Когда финансы мои сократились до шиллинга, четырех пенсов, я перебрался в Боу, в ночлежку, где брали лишь восемь пенсов. Спустился в затерянный среди переулков и тупиков душный тесный подвал метра три на три. С десятков квартирантов, большей частью чернорабочих, сидели у бьющего ярким светом огня. Несмотря на глубокую ночь сынишка полномочного, бледный и взмокший, резво ползал по коленям жильцов. Старик ирландец насвистывал слепому снегирю в крошечной клетке. Были и другие пичуги – чахлые создания, не знавшие ничего кроме этого склепа. Обитатели ночлежки, лентяй тащиться до уборной через двор, мочились прямо в огонь. Сев к столу, я почувствовал странное шевеление под ногами; поглядев вниз, увидел плавно текущую сплошную черную массу – тараканы.

В спальне шесть коек; простыни, крупно помеченные штампом «Украдено из дома №..., Боу-роуд», пахли кошмарно. Рядом спал дряхлый старик, рисовальщик на тротуарах, с каким-то особенным искривлением спины, заставившим его выгнуться, свесив зад в полуметре от моего лица. Эта часть его тела была голой, покрытой примечательным узором грязных разводов наподобие мраморной плитки. Среди ночи явился пьяный, свалившийся возле моей кровати. Имелись также клопы – не такой ужас, как в Париже, но достаточно, чтобы держать вас в боевой готовности. Местечко хуже некуда. Однако полномочный с женой там были людьми радушными, готовыми налить вам чашку чая в любой час дня и ночи.

Наутро, после обязательного чая-с-двойным-бутером и покупки шепотки табака у меня осталось полпенни. Все же идти к Б. одалживать еще денег не хотелось, так что путь был только во временный приют для бродяг. Очень слабо представляя, как туда попадают, но зная, что такой приют есть в Ромтоне, я пошел. И часам к трем дня дошагал. На ромтонском базаре, возле стенки загона для свиней, стоял тощий морщинистый ирландец, несомненно бродяга. Я прислонился рядом, вынул из кармана коробку с табаком и предложил ему угоститься. Старик, заглянув в коробку, изумился:

– Ето ж, ей-бох, по шести пенсов табачина! Ох, силен! Хде ж ты, сатана дери, зацапал? **Ты-то** недавне вроде дорожи топчешь.

– Неужели у бывалого странника нет табака? – спросил я.

– Хо, у нас **имеется**. Хляди вон!

Он достал ржавую жестянку из-под бульонных кубиков, в ней лежало десятка два-три собранных на мостовой окурков. Другого табака, сказал старик, редко добудешь; потом добавил, что с лондонских мостовых, если стараться, за день подберешь аж до двух унций.

– Ты никак в тутошний торчок ^[99] ладишься, э? – прищурился старик.

Я подтвердил, надеясь, что смогу к нему пристроиться, и спросил, каков торчок здесь, в Ромтоне.

– А хорош, с какавой. Исть которы с чаем торчки, которы вот с какавой, которы с пойлой. На Ромтоне-то, слав те хосподи, нам пойлу не сували, как я последни раз бывши. Я после-то на Йорк ходил да круг Уэльса.

– «Пойло» это что?

– Пойла? Одну горячу мутну воду плеснут с овсянкой ихней драной на донце, вот те и пойла. Которы торчки с пойлой, ети хуже всяких.

Мы поболтали час-другой. Ирландец оказался милейшим стариком, только очень уж скверно пах, что, впрочем, неудивительно при том количестве болезней, которыми он страдал. Как выяснилось из его описания симптомов, все у него с головы до пят было неладно: на облысевшем темени экзема, сильная близорукость (очков не имелось), хронический бронхит, какая-то боль в спине, расстройство пищеварения, цистит, варикозное расширение вен, опухоль на большом пальце ноги и плоскостопие. С таким ассортиментом болячек он бродяжил уже

пятнадцать лет.

Ближе к пяти старик спросил:

– Чайку-то хлебнуть хошь?

– Очень бы не мешало.

– Ладно, знаю тут одно место, хде задаром чаю с булкой дают. Чаек-то **хорош**. После велят молитвы драные хундеть, да сатана с ими! Все ж таки время переждем. Давай за мной.

Мы пришли в переулок, к покрытому жестью сарайчику типа загородного павильона для крикета. Перед входом уже топталось человек двадцать пять. Несколько настоящих чумазных босяков, а большинство – приличного вида ребята с севера, вероятно шахтеры или же безработные сезонники. Наконец дверь открылась. Леди в синем шелковом платье, с распятым на груди, с золотыми очками на носу, пригласила войти. Внутри десятка три-четыре фанерных стульев, фисгармония, на стене литография с весьма кровоточивой сценой крестной казни.

Конфузливо сняв кепки, мы уселись. Леди разнесла чай и, пока мы ели-пили, прохаживалась, одаряя нас добрым словом. Темы были возвышенно-духовные: о Христе, всегда питавшем слабость к неотесанным беднякам вроде нас, о том, как радостны и животворны часы, проведенные в церкви, и как преображается скиталец, если он регулярно молится... Нас воротило. Мы сидели по стенке, скомкав в руках свои кепки (а без кепки бродяга себя ощущает нагишом на витрине), краснели, что-то глухо бормотали в ответ на обращения леди. Несомненно, ей хотелось всячески выказать участие. Подойдя с блюдом булочек к парнишке из нищих северных краев, она спросила:

– Ну а вы, мой мальчик, давно ли вы преклоняли колени в беседе с вашим Отцом Небесным?

У бедняги язык отсох, зато откликнулся желудок, громко и непристойно заурчавший, почуяв близость сладкой еды. Сраженному позором пареньку едва удалось проглотить свою булочку. Отвечать леди в ее стиле умел только один из нас – проворный красноносый малый с ухватками капрала, лишенного нашивки за пьянство. Никогда не слышал, чтобы в чьих-то устах упоминания «возлюбленного Господа нашего» звучали с меньшей дозой фальши. Сноровка, явно приобретенная в тюрьме.

Чаепитие завершилось, и бродяги стали украдкой переглядываться. Молча витал вопрос – нельзя ли улизнуть до предстоящих молений? Кто-то из гостей заерзал, еще сидя, лишь устремив взор к двери, словно робко примеряя мысль о побеге. Леди одним взглядом пресекла бунт. Тонем не кротким, а кротчайшим она пропела:

– Думаю, вам все же не стоит уходить **сейчас**. Раньше шести приют ваш не откроется, у нас есть время немножко помолиться, воззвав к Отцу нашему. Полагаю, всем нам тогда станет легче и радостнее, вы согласны?

Красноносый кинулся помогать: услужливо выдвинул фисгармонию, затем роздал молитвенники. Делал он это спиной к леди, благодаря чему дал волю своим комическим талантам, уподобив стопку книжек колоде карт и шепча при вручении: «Накось, приятель, прям-таки одни е... козыря! Накось – четыре туза с королем!...».

Смиренные, мы опустились на колени подле грязной чайной посуды и принялись бубнить, что мы не делаем того, что нам следует делать, а делаем то, чего делать не следует, и как нам плохо от этого. Леди молилась благоговейно, не забыв, однако, зорко водить очами, дабы удостовериться в нашем усердии. Когда она переводила взгляд, мы ухмылялись, подмигивали, потихоньку отпускали непристойные шутки – активно, хотя несколько сдавленно, демонстрировали нашу лихость. Ни у кого за исключением красноногого не хватало духа читать молитвы в полный голос. С пением псалмов дело пошло веселей, только старый босяк, не заучивший ничего кроме «Вперед, воины Христовы!», иногда ревом своим нарушал стройность мелодий.

Молебен продолжался полчаса, после чего леди простилась с нами, в дверях пожав каждому руку.

– Во напасть-то, – сказал один из нас, когда мы отошли подальше. – Конца, думал, не станет этой волынке е...

– Булку те дали, – заметил другой, – оплачивай.

– Молитвы, что ль, скулить за эту булку? Небось по милосердности много не кинут. Чаю двухпенсового не нацедят, пока ты на коленки е... не погнут.

Послышались одобрительные реплики. Бродяг, как видно, бесплатный чай нисколько не растрогал. А чай, кстати, был превосходный, отличался от чая в обычном кафе, как французское бордо от дряни с этикеткой «колониальный кларет», и все мы пили этот чай, наслаждаясь. Уверен также, что нас угощали искренне, без малейшего желания обидеть. В общем, должна бы, кажется, возникнуть благодарность, – но отнюдь, не возникла.

Примерно без четверти шесть ирландец привел меня к торчку. Угрюмый тускло-желтый кирпичный куб в углу владений рабочего дома; решетки на крохотных окнах и стена высокой ограды с железными воротами слишком напоминали тюрьму. Уже толпилась в ожидании длинная очередь. Народ всякого вида и возраста, от румяного малого лет шестнадцати до скрюченной беззубой мумии лет семидесяти пяти. Были матерые бродяги, узнаваемые по их посохам и дубинкам, по вьевшейся в темные лица дорожной пыли, были безработные с фабрик и безработные батраки, был клерк в воротничке и галстук, была парочка настоящих сумасшедших. Выглядело это сборище жутковато: ничего грозного или злодейского, просто вконец обнищавшая шелудивая команда, почти сплошь рвань, причем явно полуголодная. Приняли меня, однако, дружелюбно и без вопросов. Многие угощали табаком – то есть окурками, конечно.

Подпирая стену, покуривая, бродяги делились новостями о положении в других торчках. Я узнал, что торчки бывают разные, в каждом свои плюсы и минусы, и знание места чрезвычайно важно. Опытный бродяга подробно вас проинформирует насчет любого торчка в Англии: вот там курить можно, зато полно клопов, а там постели хороши, но сторож больно драчлив, а там утром пораньше выпускают, но чай поганый, а там служители жулье, последний грош стащат... – объем сведений неисчерпаем. Известны постоянные маршруты, на которых ровно день от торчка до торчка. Как лучший путь, мне рекомендовали шоссе Барнет – Сент-Олбанз, предупредив обходить стороной Биллеркей, Челмсфорд и Айд-Хилл в Кенте. Самым роскошным в стране признавался торчок Челси; там даже, сказал кто-то, одеяла не хуже арестантских. Летом бродяги ходят далеко, зимой же всячески стараются кружить близ больших городов, где и обогреться легче и народ пощедрее. Но вообще не скитаться, не бродить они не могут, так как в определенный торчок или в два каких-то из лондонских торчков разрешено являться не чаще чем раз в месяц. За нарушение недельный тюремный срок.

Вскоре после шести ворота отворились, и во дворе, в конторе, нас начали поочередно регистрировать. Чиновник записывал имя, возраст и род занятий, а также откуда вы прибыли и куда направляетесь – туда давался специальный дорожный пропуск. Я указал родом занятий «живописец» (малевал же я детскими водяными красками, чем не занятие?). Был еще

пункт «имеются ли деньги?», на что все отвечали «не имеется». По правилам торчки только для тех, у кого меньше восьми пенсов, и медяки в пределах этой суммы положено сдавать при входе. Но бродяги предпочитают контрабандой протаскивать свою наличность, туго закрутив монеты обрывком тряпки, чтобы не звенело. Узелки обычно прячут в неперемешанных у каждого бродяги мешочках с чаем и сахаром или же среди «документов». Свято чтя «документы», власти в них никогда не роются.

Зарегистрированных, нас повели из конторы в сам торчок. Вели двое: наш надзиратель в официальном чине бродяг-майора (должность эту чаще всего получают нищие из работного дома) и сторож в синей униформе, здоровенный мерзавец, оравший и погонявший нас как стадо. Все устройство торчка ограничивалось банной комнатой, уборной да коридором с двойным рядом сотни, наверное, спальных отсеков. Мрачный холод замазанных побелкой кирпичных стен, казенная опрятность, запах, который я как-то уже заранее предчувствовал: смесь скверного мыла, дезинфекции и клозета – холодный, унижающий запах неволи.

Выстроив нас в коридоре и распорядившись по шесть человек заходить на мытье, сторож приступил к обыску. Искал он деньги и табак. Торчок в Ромтоне был как раз из тех, где вы могли курить, если сумели тайком пронести курево, но табак, обнаруженный при обыске, подлежал конфискации. Мы от бывалых бродяг знали, что здешний сторож никогда ниже коленей не шарит, и предварительно затолкали свои табачные припасы в ботинки вокруг щиколоток, а потом, раздеваясь, перепрятали в пиджаки, которые тут разрешали оставлять для пользования ими вместо подушек.

Сцена мытья была невероятно омерзительна. Полсотни грязных, совершенно голых людей толклись в помещении метров шесть на шесть, снабженном только двумя ваннами и двумя слизистыми полотенцами на роликах. Вонь от разутых бродяжьих ног мне не забыть вовеки. Меньше половины прибывших действительно купались (высказывались опасения, что от горячей воды «слабнешь»), но все тут мыли лица, руки, ноги и полоскали жуткие сальные лоскутья, так называемую ножную дрань, которую бродяги наворачтывают на переднюю часть ступни. Чистую воду наливали лишь тем, кто брал полную ванну; большинство пользовалось той же водой, где вымылись другие. Сторож пихал нас туда-сюда, вскипая бранью в адрес нерасторопных. Когда очередь дошла до меня, на вопрос, нельзя ли ополоснуть липкую грязь со стенок ванны, он рявкнул: «Заткни е... пасть и полезай живей!». Социальная атмосфера учреждения определилась, больше я уже ничего не спрашивал.

После мытья, связав нашу одежду в узлы, сторож выдал казенные рубахи – сомнительной чистоты серые хламиды вроде упрощенного варианта ночных сорочек. И сразу же нас развели по клетушкам, а затем сторож с надзирателем принесли из рабочего дома ужин: каждому полфунта намазанного маргарином хлеба с пинтой горького, без сахара, какао в жестяной кружке. Мы это, сидя на полу, мигом сглотнули, и часов в семь нас заперли снаружи; заперли до восьми утра.

В рассчитанные на двоих отсеки разрешалось идти вдвоем с приятелем. Меня, приятелей не имевшего, поместили с таким же одиночкой, тощим и слегка косоглазым заморышем. Кирпичная коробка, теснота (площадь метра два с половиной на полтора), глазок в двери, зарешеченное оконце под самым потолком – точная копия тюремной камеры. Внутри было шесть одеял, ночной горшок, труба местного парового отопления и больше абсолютно ничего. Я осматривался со смутным чувством, что чего-то недостает, и вдруг ошеломленно понял, чего именно:

– Где же, черт побери, кровати?

– Кровати? – изумленно повторил сосед. – Нету кроватей! Разбежался! Тут нас прям на пол ложат. Ишь ведь! А ты же же, не знал?

Отсутствие в торчках кроватей, как оказалось, было нормой. Мы свернули пиджаки, привалив их к трубе, и по возможности устроились. Стало ужасно душно, но все-таки не настолько тепло, чтобы употребить все свои одеяла на прослойку между телом и каменным полом. Лежали мы с соседом чуть не впритык, дыша друг другу в лицо, раздраженно брыкаясь в беспокойном сне, постоянно сталкиваясь коленками, локтями. Вертеться с боку на бок не помогало: как ни повернешься, камень давит сквозь тонкую подстилку и вскоре ноющую боль затекших мышц сменяет острейшая ломота. Дольше десяти минут не поспишь.

К полуночи со стороны соседа начались гомосексуальные попытки – особая гадость в задраенной, темной как склеп клетушке. Усмирить тщедушного агрессора мне не составило труда, но о сне, разумеется, пришлось забыть. Остаток ночи мы курили, разговаривали. Сосед поведал мне свою историю: монтер, три года без работы, жена, как только перестал носить зарплату, покинула, и он уже так долго вдали от женщин, что почти позабыл про них. Гомосексуализм, сказал он, обычное дело среди бродяг.

В восемь загремели замки и крики сторожа «на выход!». Двери открылись, выпустив клубы затхлой смердящей вони. Коридор мгновенно наполнился вострепанными фигурами в серых рубахах, с горшками в руках; все рвались в банную комнату. И не зря – по утрам на всю партию

ночевавших ставится лишь одна бадья воды, так что, когда настала моя очередь, человек двадцать уже умылись, я только поглядел на хлопья плавающей бурой пены и ушел. Завтрак принесли точно такой же, как ужин, потом роздали одежду и послали во двор трудиться: перебирать картофель для кухни работного дома. Задание чисто формальное, просто чтобы занять нас до санитарного осмотра, большинство бродяг откровенно бездельничало. Около десяти прибыл врач, велено было опять идти в дом, снова раздеться и ждать.

Голые и дрожащие, мы выстроились в коридоре. Невозможно представить этот парад чахлого уродства под беспощадным утренним светом. Одежда у бродяг плоха, но ею прикрывается нечто еще более жалкое. Бродягу по-настоящему увидишь, когда согласишься на него голого. Вздутые животы, впалые груди, плоские ступни, дряблые хилые мускулы – всевозможные вариации порчи и немощи. Почти у всех признаки явного недоедания, у двоих подвязаны грыжи, а что касается древнего старца-мумии, то вообще непонятно, как он мог совершать свои ежедневные марши. Лица, небритые, помятые, опухшие после бессонной ночи, тоже впечатляли, всякий принял бы нас за едва вышедших из недельного запоя.

Медицинская проверка проводилась исключительно в целях выявления оспы. Молодой практикант, дымящий сигаретой, быстро шел вдоль шеренги, пробегая взглядом по обнаженной коже и нисколько не интересуясь здоровьем проверяемых. Увидев на груди соседа красную сыпь, я, спавший рядом, в нескольких дюймах, запаниковал – не оспа ли? Но медик, поглядев, махнул рукой – сыпь просто от голодной дистрофии.

По окончании осмотра мы оделись, нас вывели во двор, где сторож, выкликая по именам, вернул всякие личные пожитки, и затем каждому в конторе дали талончик на бесплатную еду. Шестипенсовый талон с направлением в кафе именно по тому маршруту, который был назван бродягой накануне. Между прочим, среди бродяг обнаружилось много неграмотных, просивших меня или других «ученых» расшифровать им их талоны.

Ворота отперли; толпа немедленно рассеялась. Как свеж и ароматен воздух – даже воздух глухой труппной улочки – после духоты провонявшего сортиром торчка! У меня теперь появился приятель, с которым мы свели дружбу, перебирая картошку. Звали его, бледного, меланхоличного, довольно тщательно одетого ирландца, Падди Джакс, он направлялся к торчку в Эдбери и предложил мне идти вдвоем. Мы думали добраться часа в три дня, но, заблудившись в чаще унылых северных

трущоб, вместо двенадцати миль отшагали четырнадцать. Талоны наши предназначались для илфордского кафе, куда мы и зашли. Разносившая еду девчушка, схватив талоны, презрительно мотнула головой, после чего долго ходила, нас не замечая. Наконец брякнула на стол два «полных чая» с четырьмя смазанными подгоревшим жиром кусками хлеба – еду максимум пенсов на восемь. По паре пенсов от указанных шести в кафе всегда отжуют; у бродяги ведь не деньги, а талон, так что ни спорить, ни уйти в другое место этот клиент не может.

О Падди, моем спутнике на ближайшие полмесяца и первом бродяге, которого я хорошо узнал, надо сказать подробнее; он был, по-моему, типичен, десятки тысяч ему подобных топчут дороги Англии.

Довольно высокий, начинающий сидеть блондин лет тридцати пяти, с водянистыми голубыми глазами. Черты лица приятные, но щеки впалые, того нечистого, землистого оттенка, который придает хлебно-маргариновый рацион. Одет чуть лучше большинства бродяг: спортивный твидовый пиджак и пара очень старых вечерних брюк, все еще красовавшихся истертым шелковым кантом. Кант, видимо, означал для Падди драгоценный след респектабельности – расползавшийся ветхий шнурок тщательно подшивался. Весьма заботясь о своей внешности, Падди бережно сохранял сапожную щетку и бритву, хотя давно продал и пачку «документов» и даже перочинный нож. Тем не менее бродяга узнавался за сотню ярдов. Нечто особое в дрейфующем стиле походки, в небрежной, а по сути боязливой, манере горбиться, выставив плечи. Сразу чувствовалось, что парню привычнее не кулаком вдарять, а получать по шее.

Вырос Падди в Ирландии, потом прошел обычные два года армейский службы, потом работал на шлифовально-металлическом заводе, откуда пару лет назад и был уволен. Своего нынешнего положения он ужасно стыдился, хотя повадки бродяг уже усвоил целиком. Беспреданно шарил глазами по мостовой, не пропуская ни единого окурка, ни даже пустых сигаретных пачек, пополнявших его запас бумаги для самокруток. На пути в Эдбери он увидел и мигом цапнул валявшийся газетный сверток, содержащий, как выяснилось, два окаменевших по краям сэндвича с бараниной; добычу, по его настоянию, мы разделили поровну. Он никогда не проходил мимо торговых автоматов, не дернув за рычаг (говорил, что неполадки в механизмах дают иной раз вытрясти монеты). Но криминальных действий избегал. Заметив возле двери одного из окраинных домов Ромтона доставленную, вероятно по ошибке, бутылку молока, Падди замер, пожирая ее взглядом:

– Черт! Ить каков ето продукт без пользы киснет! Хапнет же кто сейчас, а? Хапнет запросто.

Ясно читалось искушение «хапнуть» самому. Он глянул туда-сюда – тихая улица без магазинов и никого вокруг. В тоскливой жажде молока

худое серое лицо Падди совсем вытянулось. Потом он отвернулся, удрученно проговорив:

– Пусть его. Красть-то человеку чего хорошего. Я, слав те Господи, покудова ни раз еще не кравший.

Робость от постоянного недоедания, вот что пока хранило его добродетель. Доведись ему хорошенько набить брюхо пару дней кряду, он бы расхрабрился стащить бутылку молока.

В беседах Падди занимали два вопроса: унижительность позорной бродячей жизни и лучший способ выклянчить кусок. На эти вдохновительные темы он, шаркая по тротуарам, хныкал, жалостно причитал своим ирландским говорком:

– Да че же, сатаны мы, так мотаться? Ить ето ж с души рвет залазить в торчок драный. А кроме-то его куда подашься? Я, вон, второй месяц мясца не нюхавши, ботинки тоже уж прям развалившись и вообще уж... Черт бы! До Эдбери бы ткнуться при какой церкви чайку словить. У монастырских-то особо сладко чай варят. Как и жить бы человеку без святой веры? Мне уж сколько вот чаю давалось от монастырских, от баптистов, англиканских, других разных. А так-то я католик. На исповедь, сказать по-честному, лет с семнадцати не ходивши, но все ж таки святую веру взял и в чувстве и в понятии. И тоже вот у монастырских чайку всегда...

Такого рода монологи тянулись днями напролет, почти без перерыва.

Невежество Падди изумляло и устрашало. Однажды он, например, спросил, кто был раньше кого, Наполеон или Христос. В другой раз я рассматривал витрину букиниста, а он очень встревожился, ибо на одной из обложек значилось «О подражании Христу» и Падди усмотрел тут богохульство. Сердито бросил: «Чой-то, сатаны какие, вздумавши подражать Ему?». Читать он мог, но книги им воспринимались как некая враждебная стихия. Решив по пути заглянуть в публичную библиотеку и зная, что Падди до чтения не охотник, я предложил ему зайти хотя бы передохнуть. Он предпочел, однако, дожидаться на улице, сказав: «Не, меня токо с вида всей етой сплошной чертовой книжности в дурман клонит».

Подобно большинству бродяг он алчно дрожал над спичками. Когда мы познакомились, в его кармане был целый коробок, но никогда он при мне спичку не зажег, а если я чиркал своей, то получал выговор за расточительность. Сам он прикуривал обычно у прохожих и был готов по полчаса ждать случая, чтобы задымить наконец от чужого огонька.

Ярче всего в нем проявлялась склонность жалеть себя. Казалось, думы о различных своих бедах не покидали его ни на миг. Долгое молчание вдруг прерывалось восклицанием: «Не адско ль дело, как вот пальту в заклад

снесешь?» или же: «Чай-то ить в торчке одна моча!», будто важнее поводов для размышлений на свете не было. К тому же Падди грызло черной завистью ко всем более него преуспевшим – не к богачам, существовавшим в другом мире, а к людям, обеспеченным работой. Таких он язвил, как артист язвит собратьев, достигших славы. Если видел работающего старика, горько ронял: «Вишь, старый... клещом, а парням в силах нету местов», если мальчишку – «Сатаны сопливы, токо и годны хлеб у человека отбивать». Всех иностранцев Падди называл «клятыми итальяшками», твердо считая чужаков виновниками безработицы.

На женщин он смотрел со смесью тоски и ненависти. Хорошеньких встречных не замечал, как объекты недосыгаемые, слюнки у него текли при виде проституток. Плышет мимо парочка размалеванных затрепанных созданий – бледные щеки Падди розовеют, глаза его потом долго и жадно пялятся им вслед. «Паскуды!...» – бормочет он с вожделением малыша перед витриной кондитерской. Он как-то рассказал мне, что два года (с тех пор как потерял работу) не имел дел с женщиной, разучившись метить выше проституток. В общем, обычный для бродяг характер – трусоватый, завистливый, шакалистый.

И все же Падди был славным товарищем, по натуре великодушным и готовым поделиться последней коркой, и действительно не раз делившим со мной последний свой кусок. Он бы наверно и трудился хорошо, если б его нормально подкормить. Но два года на хлебе с маргарином все ниже опускали планку желаний и возможностей. На убогом подобии еды и тело и мозги слабели, раскисали. Не врожденная гниль, а дрянная скудная пища истребила в Падди мужество.

По дороге в Эдбери я сказал Падди, что есть друг, который наверняка ссудит меня деньгами, и лучше бы вернуться в Лондон, чем снова мучаться в торчке. Но уж достаточно давно не навещавший этот торчок Падди, как истинный бродяга, упустить дармовой ночлег не мог; договорились идти в Лондон завтра с утра. У Падди, кстати, в отличие от меня, имевшего только полпенни, было два шиллинга, достаточных чтобы нам обеспечить по койке и несколько чашек чая.

Торчок в Эдбери мало отличался от торчка в Ромтоне. Хуже всего то, что там отобрали весь наш табак, предупредив о немедленном выдворении злостных курильщиков. Согласно «Акту о бродяжничестве» за курение в торчке могли даже судить – вообще бродягам чуть не каждый пункт закона грозит судом; впрочем, начальство, избегая лишних хлопот, обычно просто выгоняет нарушителей. Работы нам тут никакой не предлагалось, а отсеки были довольно комфортабельны – со спальными местами («двухъярусными»: на дощатой полке и на полу, застеленном соломой) и большой стопкой одеял, хоть грязных, зато без паразитов. Еда та же что в Ромтоне, только вместо какао чай; утром возможность (в обход правил, разумеется) взять еще кружку, уплатив бродяг-майору полпенни. Каждому перед уходом дали обеденный сухой паек из ломтя хлеба с сыром.

Когда мы возвратились в Лондон, до открытия ночлежек оставалось еще восемь часов и надо было убить время. Интересно, сколь многого вокруг себя не замечаешь. Тысячу раз я бывал в Лондоне, но так и не заметил сквернейшей местной штуки – здесь бесплатно даже присесть нельзя. В Париже, если карман пуст и не найти уличную скамейку, можешь сесть на тротуар. Бог знает, куда бы привела такая вольность на лондонских улицах, – вероятно, в тюрьму. К четверем дня мы уже слонялись часов пять, стертые ноги горели, животы подвело от голода, так как пайки мы съели сразу же за воротами торчка, и у меня ни грамма табака; в этом отношении собиравший окурки Падди несомненно выигрывал. Попытались зайти в церкви – все закрыто, в читальню – переполнено. Как последнюю надежду, Падди предложил вновь вчерашний работный дом, куда, конечно, не пускают раньше семи, но вдруг удастся прошмыгнуть. Мы дошагали до великолепного подъезда (сама постройка в Ромтоне действительно великолепна) и с очень беззаботным видом, всячески изображая постоянных жильцов, направились внутрь. Мигом выскочил какой-то

бдительный малый, очевидно из начальства, загородил нам путь:

– Спавшие в прошлу ночь тут?

– Нет.

– Пошли вон, на...!

Вынужденные повиноваться, мы еще пару часов протоптались на углу улицы. Малопрятно, зато я навеки отучился от выражения «бездельник с перекрестка», так что некую пользу это мне все же принесло.

В шесть мы двинулись к убежищу Армии спасения. На ночлег там до восьми не устроишься, да и свободных мест могло не оказаться, но официальный представитель у входа, называя нас «братья мои» и получив наше согласие оплатить две чашки чая, позволил войти. Главный зал убежища представлял собой выбеленный сарай, гнетуще чистый, голый и холодный. За столами на длинных деревянных лавках тесно жались человек двести довольно приличного, точнее приниженного, вида. Вдоль рядов прогуливались офицеры-миссионеры в униформе. По стенам красовались портреты генерала Бута^[100], а также строгие запреты выпивать, стряпать, плевать, выражаться, ругаться, ссориться, играть на деньги. Как образчик, приведу одно правило дословно:

«Всякий, будучи обнаружен за азартной игрой или же игрой в карты, удаляется и впредь не допускается категорически. Информация по выявлению подобных лиц вознаграждается. Офицеры обязаны привлекать каждого гостя к содействию по очищению убежища от МЕРЗОСТНОГО ЗЛА АЗАРТНЫХ ИГРИЩ.»

Особенно изящно было сформулировано насчет «азартной игры или же игры в карты».

На мой взгляд, эти стерильные богадельни мрачнее самой захудалой из ночлежек. Такой унылой безнадежностью веет от массы здешних постояльцев – обнищавших приличных граждан, растерявших по ломбардам свои крахмальные воротнички, но все еще грезящих о достойной чиновной службе. Для них убежища Армии спасения, где хотя бы гигиенично, последний оплот добропорядочности. Возле меня сидели двое иностранцев, чуть не в лохмотьях и, однако, безусловно джентльмены. Они играли в шахматы, лишь называя, даже не записывая ходы. Один из них был слеп. Я слышал их разговор о том, что хорошо бы купить доску, что давно уже они копят необходимые полкроны, только никак не получается. Немало вокруг было молодых безработных клерков, нервных и малокровных. В центре соседней молодежной компании возбужденно ораторствовал худенький, долговязый, белый как мел юноша – стучал кулаком по столу, хвастался с каким-то лихорадочным пылом, а когда

оказался вдали от ушей офицеров, впал в неслыханное богохульство:

– Говорю вам, ребята, я намерен завтра же получить работу. Я не из вашей драной стаи, чтобы тут на коленях ползать, я сумею сам себя вытащить. Смотрите-ка что за плакатик нам повесили! «Господь поможет»! Ни шиша от него дождешься! Меня, ребята, на удочку с этим... Господом не поймаешь. Будьте уверены! **Завтра же получу себе работу!...**

Поражал буйный, истеричный стиль тирады, юноша выглядел или нездоровым, или слегка подвыпившим. Часом позже я приоткрыл дверь в «читальную» комнатку около главного зала; ввиду отсутствия каких-либо книг и газет заходили туда редко, сейчас там в полном одиночества стоял тот самый молодой клерк, стоял он на коленях и **молился**. На секунду, до того как я снова закрыл дверь, мелькнуло лицо, маска жестокого страдания, и вдруг по выражению лица я догадался – паренек истерзан голодом.

Ночевка здесь стоила нам по восемь пенсов, оставшиеся пять мы с Падди истратили в «баре», где цены были невысокими и все-таки несколько выше, чем в обыкновенных ночлежках. Чай, судя по всему, заваривался чайной **трухой**, которая, я полагаю, даром доставалась от благодетелей, хотя брали три с половиной пенса за чашку. Жуткая дрянь. Ровно в десять дежурный офицер чеканным шагом начал обход, дуя в свисток. Тут же все поднялись.

– В чем дело? – недоуменно спросил я Падди.

– То вот и значит, что кончай да иди в койку. И чтобы шустро, значит, насчет етого.

Послушно как овечки, две сотни людей под командой офицеров проследовали на ночлег.

Большая, во весь чердак спальня казарменного типа вмещала кроватей шестьдесят-семьдесят. Постели чистые и относительно удобные, но очень узкие и очень близко друг от друга, спящий дышит буквально в нос соседу. Вместе с жильцами ночевали два офицера, надзиравшие за соблюдением правил не курить и не болтать после отбоя. Нам с Падди спать пришлось урывками, поскольку рядом некий психопат, наверное контуженный, время от времени громко выкрикивал: «Пип!». Резкий, пронзительный звук наподобие автомобильного гудка, и никогда не угадаешь момент нового вопля, надежное средство не задремать. Этот Пип, как его тут называли, являлся постоянным жильцом, стало быть всякую ночь человек десять-двадцать из-за него лишались сна. Еще один пример самых разнообразных причин, по которым люди всегда недосыпают в ночлежках с их стадным бытом.

В семь, опять по свистку, подъем и обход офицеров, теребящих тех, кто замешкался. Потом мне доводилось ночевать во многих убежищах Армии спасения, помещения слегка отличались, но везде устав строгой полувоенной дисциплины. Убежища эти, конечно, кров дешевый, однако, на мой вкус, тот же работный дом. Кое-где даже принудительная явка на идущие пару раз в неделю церковные службы: гость обязан блюсти обряды или же совсем уйти. Задуманная как живое воплощение христианского милосердия, на деле Армия спасения и заурядную ночлежку не смогла устроить без того, чтобы это благое милосердие не смердело.

В десять я отправился к Б. просить фунт. Он дал мне два и звал снова прийти когда понадобится, так что забота о деньгах для нас с Падди отпала по крайней мере на неделю. День мы шатались по Трафальгарской площади, высматривали – совершенно безуспешно – одного друга Падди, вечером пошли в ночлежку на боковой улочке возле Стрэнда^[101]. Выложив по одиннадцать пенсов, попали в зловещую вонючую дыру, к тому же с дурной славой места, популярного у «нежных мальчиков». Во тьме подвальной кухни обособленно, вне круга общей компании, сидели на скамейке три юнца сомнительной наружности, в пижонских светлых костюмах. Надо полагать, «нежные мальчики» (типаж парижских юных апашей, только щеки не украшены длинными баками). Перед огнем торговались двое жильцов: один одетый с головы до пят, другой же в абсолютно натуральном виде. Оба были продавцами газет. Одетый, продававший голому вещи с себя, уговаривал:

– Шмотки что надо, ты в лучшей оснастке сроду не хаживал. Тутыш за пиджак, два бычка за штаны, один с рыжаком за штиблеты и шарф с кепкой бычок – все чохом на семь бобов^[102].

– Держи карман шире! Пиджак – полтора, штаны – бычок и пару бычков остальное. Четыре с рыжаком за все.

– Лови удачу, кореш, – пять с рыжаком!

– Годится! Скидывай, мне уж бежать с вечерним выпуском.

Продавец не замедлил, и минуты через три роли переменились: голый целиком обмундирован, а приятель его в юбочке из листов вчерашней «Дейли Мейл».

Спальня была на пятнадцать коек; мрак, теснота и едкий душный запах распаренной мочи, такая скотская вонища, что поначалу дышишь короткими затычками, боишься наполнить легкие. Только я лег, из темноты ко мне склонилась фигура, забормотавшая благовоспитанно и пьяно:

– Как, мальчик из славной доброй школы? – (Пьяный различил мой

выговор, когда я что-то говорил Падди.) – Нечасто встретишь в этих стенах. А перед вами, позвольте представиться, старина итонец. Сквозь дни и годы неподобный наш ветерок – вы понимаете.

Фальшивя, он задребезжал песенку, под которую воспитанники Итона гребут на лодках:

Свеж ветерок попутный,

И веет от лугов...

«Кончай,..., орать!» – раздалось с нескольких соседних коек.

– Вульгарные людишки, – произнес старина итонец, – весьма вульгарные. Забавное, однако, местечко для нас с вами? Знаете ли, что говорят мне мои друзья? «Ты, М..., – твердят они, – пропащий». Абсолютная истина – **пропащий**. Пал на самое дно жизни; не то что эти... вокруг, которым от рождения ниже не опуститься. Нам, павшим ребятам, надо бы слегка поддерживать друг друга. Печать юности навсегда – вы понимаете. Могу я предложить вам выпить?

Доставая бутылку шерри-бренди, он покачулся и всей тяжестью рухнул поперек моих ног. Раздевавшийся Падди поднял его за шиворот:

– Вали обратно в койку,... очумевший!

Старина итонец, шатаясь, добрался до своей кровати и вполз под простыни, не сняв ни галстука, ни пиджака, ни даже ботинок. Многократно среди ночи слышалось его бормочущее как бы со стороны «ты, М..., пропащий!». Утром он так и спал, в костюме, прижимая к себе бутылку. Был он на вид лет пятидесяти, с тонким, истасканным лицом и, что довольно любопытно, экипирован весьма щегольски. Торчавшие из нищенской постели элегантные дорогие туфли смотрелись подозрительно. И, между прочим, стояла его бутылка шерри-бренди здешнего двухнедельного проживания, то есть от бедности он не страдал. Должно быть, шлялся по ночлежкам в поисках «нежных мальчиков».

Кровати стояли почти вплоты, и около полуночи я вдруг почувствовал, что сосед слева пробует нащупать у меня под подушкой кошелек; сопит, притворяясь спящим, и мягко, осторожной крысой, шарит. При свете дня он оказался горбуном с длинными обезьяньими руками. Когда я рассказал про попытку ограбления Падди, тот засмеялся:

– Во как! Привыкай, значит. По этим всем ночлежкам битком ворья. Хотя б даже где сейф: монету спрячешь, так ить одежду все равно с собой. Я раз видал, как деревяшку от инвалида сперли. Тоже вот случай был, пришел один мужик, толстущий, килов на сто, и денег у него было четыре фунта с лишком. Он их засунул под матрас – ну, грит, порядок, с-под моей комплекции никакой... ниче не вытянет. А и его уделали. В утро

проснувшийся он на полу: братва-то вчетвером его матрас за углы взяли да и наземь, будто перышко. Лишился он навек своих денег-то!

Следующим утром мы вновь отправились искать друга Падди, который звался Чумарем, а зарабатывал как «скривер» – рисовальщик на тротуарах. Адресов в мире Падди не существовало, туманно предполагалось найти Чумаря где-то в районе Лэмбета, и в конце концов мы на него наткнулись, идя по набережной. Он обосновался близ моста Ватерлоо; стоя на коленях, перерисовывал с эскиза из грошового блокнотика портрет Уинстона Черчилля. Сходство угадывалось неплохо. Сам же Чумарь оказался маленьким, смугловатым, нос крючком и низко надвинутая шапка курчавых волос. Правая нога у него была страшно искалечена, ступня ужасающим образом вывернута пяткой вперед. Выглядел он типичным евреем, хотя всегда это решительно отрицал, называя свой крючковатый нос «римским», гордясь его подобием носу некого императора (я полагаю, Веспасиана^[103]).

Речь Чумаря отличалась оригинальностью. Он говорил как кокни^[104] и однако необычайно ясно, выразительно. Словно прочел много хороших книг, оставшись совершенно равнодушным к грамматике. Беседуя со мной и Падди на набережной, Чумарь изложил суть своего ремесла. Постараюсь более-менее точно воспроизвести его слова.

– Я-то, что говорится, скривер серьезный. Не чиркаю мелками, как школяры на досках, вроде разных тут. Цвет кладу по-настоящему, по-живописному; дерут только за колера драные больно дорого, особо за карминные^[105]. К вечеру краски искрошишь на семь бобов, на два уж точно. Главным делом, я по карикатуре – политика, там, знаешь, крикет, все такое. Смотри сюда, – он показал мне свой блокнот, – верховные в полном комплекте, портретность прямо с газет срисована. Каждый день новую карикатуру выдаю. К примеру, как подъем финансов заявили, я дал Уинстона, вроде бы он слону под брюхо уперся, на слоне буквами «Внешний долг», а внизу надпись «Под ним поднимет ли?». Усек? Кого захочешь в карикатуру ставь, только чтоб не социалистам в масть – полиция гоняет. Раз вот изобразил: удав, который обозначен «Капитал», жрет кролика, который «Труд». Скоро приклепал коп, глянул и мне: «Стирай мазню, вперед поберегись!». Ну, чего делать, стер. У копов власть как побирушку тебя прихватывать, с ними молчи и не вяжись.

Я спросил, сколько можно заработать таким рисованием.

– Какой сезон смотри. Без дождя, под субботу и до воскресенья, так

три жвача^[106] возьму – народ-то, знаешь, в пятницу с получкой. А льет если, так вовсе не ходи: краску в момент до камня смое. На круг прикинуть – выйдет так примерно в неделю фунт, зимой-то много не наработаешь. Когда конечно День гребца или там Кубок финальный, насшибаешь полных четыре фунта. Но это, знаешь, еще **колупнуть** публику требуется; будешь сидеть просто, глазами хлопать, боба не соберешь. Обычный крап^[107] – кидают по полпенни, а и того не кинут без зацепки. Зацепишь их на разговор, тогда им стыдно хоть какую мелочь тебе не дать. А приманить их самый правильный крючок это картину все подрисовывать: им интерес, чего ты красишь, станут и пялятся. Прокол, что только ты к ним с шапкой – команда наутек. Для верности бы козырной^[108] нужен. Ты вот картину делаешь, зевак погуще собираешь, а он случайно вроде со спины их подойдет и стоит себе, тихарится – и вдруг кепчонку с головы дерг: «Сударь, пожалте!», им уж деваться некуда, меж двух огней. На крап от шика-блеска не надейся. Главный крап от парней, которые попроще, да иностранцев. Мне япошки полшиллинга раз кинули, черные крапают хорошо, другие тоже. Все не такие жмоты драные, как наш английский человек. Еще вот что: монеты сразу прячь, ну пенс какой, может, оставь в шапке. Народ как видит, что уже на пару бобов накидано, так мимо – хватит, мол, с тебя.

Остальных скриверов Чумарь глубочайшим образом презирал, называя «сеledками вареными». Между тем, рисовальщики трудились вдоль набережной чуть ли не на каждом шагу (корпоративно установленный минимум между «точками» – двадцать метров). С негодованием Чумарь указал на работавшего неподалеку седобородого скривера:

– Видали бестолочь? Лет десять каждый день все одну картину тут чертит: «Верный друг» это у него, как пес ребенка из-под воды спасает. Сам-то, тупой старый ублюдок, карябает не лучше ребятни. Задолбил только, что в картине растушевку пальцем наводишь, вроде как обучили мальчика птичку с газеты складывать. Навалом здесь таких. Бегают, норовят идеи мои стибрить, а мне чего? Им, полудуркам, своего ни... в мозги не стукнет, так что я всяко на обгон уйду. Ты вот поди-ка ухвати самую злободневность. Слышу я однажды, что на мосту Челси мальчишка головой в решетке застрял, так у меня картина готова раньше, чем малому башку вытянули. У меня в два счета.

Чумарь казался человеком интересным, хотелось ближе с ним познакомиться. Поскольку было решено, что он возьмет нас в ночлежку на южном берегу, я вечером опять пришел к его стоянке. Смыв свой рисунок с

тротуара, Чумарь подсчитал выручку – шестнадцать шиллингов, а чистого дохода, сказал он, шиллингов двенадцать. Мы двинулись в Лэмбет. Чумарь ковылял медленно, переваливаясь как краб, разворачиваясь боком при каждом подтягивании больной ноги. Для опоры в обеих руках палки, ящик с красками закинут за плечо. На мосту он остановился передохнуть в одной из ниш. Молча стоял, и я вдруг понял, что он смотрит на звезды. Тронув меня за рукав, Чумарь махнул посохом вверх:

– Гляди, Альдебаран-то? Цвет горит! Прямо, апельсином...м полыхает!

Восхищался Чумарь как заправский критик на вернисаже. Он изумил меня. Пришлось сознаться, что я ведать не ведаю, где этот Альдебаран, да и каких-либо различий в цвете звезд до сих пор не усматривал. Несколько огорченный моим невежеством, Чумарь дал вводный урок астрономии с показом основных созвездий. Я, не переставая удивляться, сказал ему:

– У вас, однако, большие знания о звездах.

– Не особо. Так, кое-чего знаю. Два письма имею от Королевской обсерватории – признательности за мои заметки про метеоры. Теперь вот снова по ночам хожу смотреть их. Звезды даром представлены; глаза раскрой и без билета гляди спектакль.

– Прекрасная мысль! Мне в голову не приходило.

– Да, выискивай свой интерес. Если бродяга, так не значит, чтобы думать про один чай-с-бутером.

– Но ведь непросто увлечься чем-то – чем-то, например, наподобие звезд, – живя довольно трудной жизнью.

– Намекаешь – булыжник разрисовывая? Кому как. Не обязан ты в щель драную конопатиться, когда мозги еще не напрочь пересохли.

– По-видимому, именно это и настигает большинство.

– Конечно. Вон, на Падди погляди – готов уже, лишь бы задаром чаю где словить, огрызок выклянчить. Одна дорожка почти всем им. Кисляи драные! Но **тебе** что? Когда парень образование получил, потом без разницы, пускай даже весь век бродягой топать.

– Ну, у меня прямо противоположный вывод, – возразил я. – По моим наблюдениям, человек, лишившись денег, сразу теряет и все силы и способности.

– Нет, это уж кто как. Если встал на самостоятельность, так можешь жить и дальше, каким жил, есть ли деньги или нету. Всегда можешь спокойно продержаться при своих книгах, своем разуме. Только скажи себе: «А **здесь-то** я свободен», – он постучал по лбу, – и все, полный порядок.

Чумарь продолжал рассуждения в том же духе, я внимательно его

слушал. Собеседник оказался скривером очень необычным, кроме того мне впервые встретился человек, утверждавший, что бедность не имеет значения. Я многое узнал о нем из наших бесед в последующие дни (сутками шли дожди, работать Чумарь не мог). Биография у него была довольно любопытная.

Сын разорившегося букиниста, он смолоду освоил ремесло маляра, затем, в войну, служил в Индии и во Франции. После войны, найдя малярную работу в Париже, остался там. Франция ему нравилась больше, чем Англия (включая и презируемый им английский язык). В Париже он жил несколько лет, преуспел, накопил денег, посватался к юной француженке. Но в одночасье невеста погибла, попала под омнибус. Чумарь беспробудно запил. Лишь неделю спустя, еще нетвердо ступая, он снова вышел на работу и в то же утро упал с лесов, с четвертого этажа, вдребезги размозжив правую ногу. Страховку, придравшись к чему-то, ему выплатили только шестьдесят фунтов. Он вернулся в Англию, все накопления, пока искал работу, прожил, пытался торговать книгами в рыночных рядах Мидлсекс-стрит, продавать с лотка всякие безделушки и наконец утвердился на социальном дне, став скривером. Перебивался кое-как трудами своих рук, зимой полуголодный, зачастую ночевавший в торчке или прямо на набережной. Когда мы познакомились, его имущество состояло из старого тряпья на нем, малярно-рисовальных средств и пачки книг. Одетый подобно остальной уличной голи, он однако носил воротничок и галстук, чем заметно гордился. Воротничок, годичного употребления или даже постарше, «разъезжался», и Чумарь его беспрестанно реставрировал лоскутками от края рубашки, укоротившейся уже настолько, что она едва заправлялась в брюки. С поврежденной ногой дела обстояли все хуже, грозила ампутация, а на коленях, днями напролет трущихся о камень, образовались громадные, твердые как подметка, мозоли. Перспектива была ясна – впереди ничего, кроме нищеты и смерти в рабочем доме.

При всем том Чумарь не испытывал ни страха, ни смущения, ни горькой жалости к себе. Прямо глядя на ситуацию, он создал собственный философский канон. Поскольку участь нищего, решил он, не его вина, каяться или волноваться здесь не о чем. Что касается поведения, то в отношении к обществу – враждебность и соответственно полнейшая готовность преступить закон, если удобный случай. Принципиальный отказ от бережливости: летом он ничего не копил, спуская все излишки сборов на выпивку, поскольку обходился без женских ласк; с наступлением зимы, оказавшись на мели, требовал положенной социальной заботы. Выжимал

каждый пенс из официальных учреждений и даже частных, если знал, что там не ждут благодарственных поклонов. Чурался, однако, религиозной филантропии, ибо ему, как он говорил, поперек горла гнусавить псалмы за булочку. Имелись и другие пункты его кодекса чести: например, особая гордость тем, что ни разу, в самый голодный час, он не поднял окурка с мостовой. Самого себя он ценил классом выше обычной нищей братии, этих, по его словам, жалких червей, неспособных даже блюсти достойную неблагодарность.

Чумарь неплохо говорил по-французски, прочел некоторые романы Золя, все пьесы Шекспира, «Путешествия Гулливера» и множество эссе. Умел ярко пересказать памятные впечатления. Так, разговаривая о похоронах, спросил меня:

– Видал когда-нибудь, как трупы жгут? Я-то видал, в Индии. Положили кощера старого на костер, через секунду я прям чуть из шкуры не выскочил, как он пошел копытами брыкать. Мускул в нем просто от огня спекался – все равно, отворотило меня. Ну, малость еще дед покорежился вроде угря на сковородке, а после брюхо затрещало и взорвалось – жахнуло так, что за полсотни ярдов оглохнешь. Я с того балагана крематорий не признаю.

Или вот из его рассказа про свой несчастный случай:

– Доктор мне говорит: «Пришибло тебя, сударь, на одну ногу, и уж удача твоя драная, что не на обе. Вот пришибло бы на обе – в гармошку драную смяло бы, кости б ножные враз из ушей повыскочили».

Ясно, что выражения принадлежали не доктору, а самому Чумарю, несомненно обладавшему даром слова. Сохранившему ясность и чуткость мысли, никогда не поддающейся натиску бедности. Оборванному, зябнущему, голодающему, но способному, пока можно читать, думать и наблюдать свои метеоры, оставаться свободным «при своем разуме».

Будучи ядовитым атеистом (из тех, кого ведет не столько неверие в Господа, сколько личная неприязнь к Нему), Чумарь находил некое удовольствие в размышлениях о безнадежности всех человеческих порывов улучшить жизнь. Иногда, ночуя на набережной, он, по его рассказам, утешался, глядя на Марс или Юпитер, представляя, что и там наверно не спят, дрожат такие же бездомные. У него в связи с этим имелась оригинальная теория. Жизнь на земле, объяснял он, тяжела потому, что скверный климат противоречит человеческим потребностям. На Марсе, оледеневшем и безводном, существовать стократ труднее, и тамошняя жизнь согласовалась с жестокостью условий. Так что землянина за кражу шести пенсов просто в тюрьму сажают, а марсианина, скорей всего, варят

живьем. Чем такое предположение вдохновляло Чумаря, я не понял. Человек это был совершенно исключительный.

Ночлежка, куда нас привел Чумарь, стоила девять пенсов. Рассчитанное на полтысячи квартирантов, огромное, переполненное обиталище, место очень известное в среде бродяг, нищих и мелкого жулья. Смесь всех племен, включая чернокожих, и речь на всех языках мира. Были там, в частности, индусы, причем, когда я говорил с одним из них на плохом урду, он обращался ко мне «тум»^[109] (фамильярность, от которой белые люди в Индии содрогнулись бы). Здесь жили ниже уровня расовых предрассудков. Мелькали всякие любопытные типы. «Дедуля» – старый, лет семидесяти бродяга, который зарабатывал на жизнь, во всяком случае на основные потребности, собирая окурки и торгуя вытряхнутым табаком по три пенса за унцию. «Доктор» – действительно врач, изгнанный из корпорации ввиду неких проступков, ныне продававший газеты, а при случае дававший весьма недорогие медицинские консультации. Щупленький матрос-индеец из Читтагонга, голодный и босой, сбежавший с британского корабля и уже неделю блуждавший по Лондону в полной растерянности, ничего не понимая, – до моих разъяснений думал, что он в Ливерпуле. Профессиональный сочинитель слезных писем, приятель Чумаря, патетически умолявший оказать финансовую помощь для погребения супруги, а добившись результата, обжирившийся в одиночку хлебом с маргарином, – мерзкая тварь, настоящая гиена. Говоря с ним, я заметил, что, как и большинство прохвостов, он сам уже почти верит в свое вранье. Эта ночлежка была настоящей Эльзасией^[110] для подобных субъектов.

За время нашего общения Чумарь несколько просветил меня относительно лондонской технологии нищенства. Предмет более сложный, чем кажется. Есть много специализаций, к тому же между просто попрошайками и теми, кто старается что-то дать за милостыню, резкая социальная грань. Сборы за те или иные «трюки», тоже очень разнообразны. Истории воскресных газет о нищих, умерших с парой тысяч под лохмотьями, это, конечно, сказки, но у высококлассных нищих случаются такие удачи, когда им удастся сразу обеспечить себя на несколько недель. В разряде самых процветающих уличные акробаты и фотографы. На хорошей точке – например, возле театральной очереди – акробат нередко собирает по пять фунтов в неделю. Примерно столько же фотографы, хотя они очень зависят от погоды. Однако эти мастера

используют ловкий прием для повышения доходов. Наметив в некотором отдалении жертву, один из них бежит к аппарату и делает вид, что снимает. Затем, когда жертва подходит ближе, ей радостно кричат:

– Порядок, сэр! Отличное будет фото! С вас боб.

– Но я же не просил меня снимать, – протестует жертва.

– Как? Не просили? А вроде бы, нам показалось, рукой-то вы махнули.

Вот те на, зря пластину засветили. Эх, ведь на шесть пенсов разорение, вот ведь как...

Обычно тут жертва, проникшись жалостью, все-таки соглашается взять снимок. Тогда фотографы осматривают пластину, говорят, что имеется дефект, но они сейчас щелкнут заново, совершенно бесплатно. Разумеется, первого снимка не было, так что, если даже жертва отказывается, никакого убытка.

Шарманщики, подобно акробатам, считаются не столько нищими, сколько артистами. Друживший с Чумарем шарманщик по кличке Коротыш подробно рассказывал мне о своем деле. Они с помощником «рыхлят» торговые кафе и кабаки вокруг Уайтчепля и Кемэшел-роуд. Ошибочно думать, что шарманщики зарабатывают на улицах, девять десятых они собирают в кафе и пабах – самых дешевых пабах, так как в дорогие их не пускают. Методом Коротыша было остановиться у входа в паб и завести какую-то мелодию, по окончании которой его помощник, стуча своей вызывающей сострадание деревянной ногой, шел внутрь и обходил публику со шляпой. Получение «крапа» непременно отмечалось еще одним прокручиванием музыки, так сказать на бис; это для Коротыша являлось вопросом чести – доказательством того, что выступал артист, а не торопящийся убежать попрошайка. Собирали Коротыш с напарником два-три фунта в неделю, но, учитывая пятнадцать шиллингов за прокат шарманки, в среднем каждому доставалось около фунта. Работали они с восьми утра до десяти вечера, по субботам и позже.

Скриверов признают артистами далеко не всегда. Чумарь меня познакомил с таким, который был «натуральным» художником, то есть настоящим, учившимся в Париже, выставившем свои работы в Салоне. Специализировался он на копиях старых мастеров, и – чертя самодельными мелками по уличным каменным плитам – делал это великолепно. Вот его рассказ о том, как он стал скривером.

«У меня жена и дети сидели без хлеба. И как-то возвращаюсь я домой, несу под мышкой целую пачку не проданных торговцами рисунков, ломаю голову, где бы мне раздобыть пару бобов. На Стрэнде вижу – парень ползает по тротуару, рисует мелом, а народ ему монетки кладет. Минуту

спустя парень поднялся и в паб. «Черт возьми!», думаю, если он таким манером деньги делает, и я смогу. И прямо тут же встаю на колени, начинаю его мелкими рисовать. Сам не знаю, как это вдруг вышло, мозги наверно помутились от голода. Между прочим, я раньше пастелью не работал, технику стал осваивать прямо на тротуаре. Ну, начали люди собираться, похваливают, уже девять пенсов рядом лежит. В это время выходит из паба тот парень, кричит мне: «Ты какого... на моей точке прилачился?». Я объясняю, что голодный и должен что-то заработать. «А-а, – говорит он, – ну тогда пойдём-ка пивка по кружке». И вот так, выпил я пивка и с того вечера сделался скривером. Набираю в неделю фунт. Шестерых детей на это не прокормишь; спасибо, что жена шьёт, может немного подработать.

Хуже всего в уличном деле – холод, а ещё то, что должен все терпеть, когда лезут к тебе. Я поначалу лучше не придумал как обнажённую фигуру копировать. Первый раз композицию сделал около церкви Святого Мартина-в-полях; подсказывает парень в черном, староста церковный или какой-то в этом роде, от ярости трясется, кричит мне: «Кто позволил намарать гнусную непристойность у стен святылища Господня?». Пришлось все смыть. А нарисована была «Венера» Боттичелли. Я эту же Венеру сделал потом на набережной; полисмен проходил, увидел и, не говоря ни слова, стал сапожищами своими шаркать, пока не стер все.

Чумарь привел аналогичный случай из собственной практики. Я и сам в Гайд-парке был свидетелем достаточно подлого поведения полиции, усмотревшей «оскорбление нравственности». Когда Чумарь нарисовал на тротуаре картинку-загадку с изображением Гайд-парка, спрятанных в гуще деревьев фигур блюстителей порядка и надписью «Найди-ка полисменов», я предложил ему изменить текст на «Найди-ка оскорбление нравственности», но он и слушать не захотел – сказал, что полиция загоняет и своей точки он лишится навсегда.

Ступенькой ниже скриверов те, кто поют на улицах псалмы или же предлагают купить спички, сапожные шнурки, пакетики со щепоткой лаванды под благородным наименованием «сухих духов». Все это откровенные попрошайки, получающие за свой нищенский вид, ни один из них не набирает более полукроны в день. Имитация торговли исключительно ради соответствия абсурдным статьям английского законодательства. По закону о нищенстве, если вы напрямую попросите у незнакомца пару пенсов, тот может подозвать констебля и сдать вас на неделю под арест, но если вы сотрясаете воздух вытьем «Допусти, Господи, в лоно Твое», либо ползаете, развозя каракули по тротуару, либо повесили

на шею поднос со спичками – короче, тем или иным способом себя мучаете, – вы уже не правонарушитель, а вполне легитимный торговец. Продажа спичек, пение псалмов – просто-напросто узаконенное преступление. Преступление, надо сказать, не слишком прибыльное; никому из лондонских уличных псалмопевцев и продавцов спичек не заработать в год даже пятидесяти фунтов – небогато за ежедневные двенадцать часов у края тротуара, с задевающими ваш зад автомобилями.

Хотелось бы добавить пару слов насчет социального статуса нищих, так как, пообщавшись с ними и обнаружив в них обыкновенных людей, нельзя не задуматься о том странном отношении, которое к ним проявляет общество. Бытует ощущение некоего качественного различия между нищим и приличным, «работающим» человеком. Нищие – особое племя изгоев подобно вора и проституткам. Работающий «трудится», а нищий «не трудится», являясь натуральным паразитом. Он, что всем очевидно, «не зарабатывает» свой хлеб, как его «зарабатывает» каменщик или литературный критик; это просто досадный нарост на теле общества, терпимый в силу гуманизма нашей эпохи, но по сути презренный.

Тем не менее, взглянув поближе, обнаружишь, что **качественной** разницы в добывании средств у нищих и огромного числа солидных граждан нет. Говорят – нищие не работают. Но что же тогда **работа**? Землекоп работает, махая лопатой; счетовод работает, итжа цифры; нищий работает, стоя во всякую погоду на улице, наживая тромбофлебит, хронический бронхит и т. п. Ремесло среди прочих ремесел. Бесполезное? Совершенно. Но и множество очень уважаемых профессий совершенно бесполезны. Как представитель социальной группы нищий часто даже выигрывает в сравнении с иными: он честнее продавцов патентованных снадобий, благороднее владельцев воскресных газет, учтивее торговцев-зазывал – словом, это паразит хотя бы безвредный. От общества он редко берет больше, чем требуется для элементарного выживания, и – что должно его оправдывать согласно принятым этическим воззрениям – сполна, с избытком платит своими муками. Не думаю, что в нищих есть нечто, позволяющее выделять их в отдельный класс людей или дающее большинству сограждан право их презирать.

Тогда вопрос – **почему** нищих презирают, презирают дружно и повсеместно? Полагаю, по той простой причине, что зарабатывают они меньше всех. На деле никого ведь не заботит, полезен или бесполезен труд, высокопродуктивен или паразитичен; требование одно – работа должна быть выгодной. Весь современный мир твердит про деловую активность, эффективность, социальную значимость, но содержит ли это что-либо

кроме «добывай деньги, добывай законно, добывай как можно больше»? Деньги стали главнейшей мерой достоинства. По этому тесту у нищих ноль очков, вот их и презируют. Сумел бы нищий зарабатывать десяток фунтов в неделю, профессия его сразу вошла бы в ранг уважаемых. Реально глядя, нищий такой же бизнесмен, как остальные деловые люди, с тем же стремлением урвать где можно. Честью своей он поступает не больше основной части современников; он всего лишь ошибся – выбрал промысел, на котором невозможно разбогатеть.

Хотелось бы попутно сделать несколько самых кратких замечаний относительно сленга и сквернословия. Вот ряд жаргонных слов (помимо самых известных), которые сегодня употребляются в Лондоне:

трюкач – живущий подаванием уличный артист любого жанра; скулёжник – откровенный проситель милостыни; козырной – помогающий собирать деньги напарник; пономарь – уличный певец; топотун – уличный танцор; мордолов – уличный фотограф; лучник – сторож оставленных автомобилей; гик – мнимый покупатель, сообщник продающего всякую ерунду разносчика («джека-дешевки»); шило – сыщик, следователь; толстопятый, он же утюг – полицейский; надувала – цыган; торба – бродяга; джуди^[111] – женщина; крап – денежное подавание; фанка – лаванда либо иное ароматическое средство в пакетике; бухальня – пивная, кабак; брехня – лицензия уличного лоточника; кип – всякое место для сна либо ночлежка; коптильня – Лондон; торчок, он же волдырь – временный приют для бродяг; тутыш – полкроны (2,5 шиллинга); динер, он же бычок – шиллинг; черешок – шестипенсовик (0,5 шиллинга); пустяшки – мелкие монеты, медяки; барабан – походный жестяной котелок; кочерыжки – суп; трещотка – вошь; голяк – табак из окурков; колышек либо прут – воровской лом, отмычка; поскребыш – сейф; шипелка – воровская ацетиленовая паяльная лампа; горланить – глотать, пить; сбить – украсть; шкиперить – спать под открытым небом.

Почти половина этих слов найдется в больших словарях. Здесь интересно угадать происхождение, хотя кое-что – скажем, «тутыш» или «фанка» – необъяснимо. «Динер», вероятно, от римско-библейского «динария». «Лучник» и соответственный глагол «лучить» то ли от внимательно светящего «луча», то ли от старинного «лучник» – стрелок из лука, хотя это очевидный пример появления нового слова, так как лучник-сторож машин вряд ли старше самого автомобиля. Любопытное словечко – «гик»; очевидно в некой связи с лошадью, понукаемой гиком, гиканьем. Происхождение «скривера» загадочно: по логике должно бы восходить к латинскому *scribo* (царапать грифелем, писать), однако ничего подобного в английском языке за последние полтора столетия не появилось, нельзя предположить и прямого заимствования от французов, у которых вообще нет ремесла скриверов. «Джуди» и «горланить» характерно для чисто ист-эндского жаргона, к западу от Тауэр-бридж этих слов не услышишь.

«Коптильной» называют Лондон только бродяги. «Кип» – пришло из Дании, вытеснив прежнее, ныне совершенно устаревшее «дрых».

Речь и жаргон лондонцев очень быстро обновляются. Описанный Диккенсом и Сартисом^[112] старый лондонский диалект – с типичной, например, заменой «уэ» на «вэ», а «вэ» на «уэ» – исчез бесследно. Акцент кокни, сложившийся, насколько известно, в сороковые годы прошлого века (впервые литературно зафиксирован повестью американца Германа Мелвилла «Белый бушлат»), тоже уже переменился; сегодня мало кто скажет «райс» вместо «рейс» или «ноус» вместо «нос», что еще прочно держалось двадцать лет назад. Наряду с произношением меняется сам жаргон. В начале века Лондон буквально помешался на «рифмующем жаргоне» – все переименовывалось стихотворными созвучиями: «нога» звучала как «скрипучая дуга», «красотка» как «под ветром лодка» и так далее. Прием был столь распространен, что попал даже на страницы романов, теперь же увлечение почти забыто^[113]. Возможно, и все приведенные мною жаргонные слова лет через двадцать исчезнут.

Ругательства также меняются – во всяком случае, следуют моде. Например, пару десятилетий назад разговору лондонского рабочего люда постоянно сопутствовал эпитет «драный». Но, хотя литераторы по-прежнему характеризуют им сугубо пролетарскую лексику, пролетарии его давно оставили. «Драный» сегодня у лондонцев (в отличие от уроженцев Шотландии или Ирландии) употребляется лишь людьми более-менее культурными. Слово явно продвинулось по социальной лестнице; вместо него ходячим, всюду прицепляемым определением стал «е...й». Несомненно, и «е...й» со временем поднимется, проникнет в светские салоны, а в массах заменится чем-то другим.

Вообще механика сквернословия, особенно английского, полна загадок. По глубинной природе брань иррациональна подобно магии, – собственно это же и есть род заклинаний. Вместе с тем очевидный парадокс: бранясь, желая потрясти и уязвить, мы произносим вслух нечто запретное (обычно из области сексуальных функций), однако, прочно утвердившись как бранное, выражение почему-то теряет смысл, благодаря которому сделалось бранным. Слово стало ругательным из-за определенного значения, но именно это значение утратило из-за того, что стало руганью. Тот же эпитет «е...й»: в прямом смысле он практически не используется и, хотя поминутно слетает с языка лондонцев, просто бренчит добавочным, абсолютно пустым звуком. Подобно быстро потерявшему подлинное содержание «пидору». Подобно аналогичным случаям

французской бранной лексики, если, допустим, вспомнить весьма бессмысленно употребляемый глагол *foutre* или мелькающее в речах парижан словечко *bougre*^[114], об исходном значении которого большинство говорящих понятия не имеет. Видимо, это правило – признанные бранью, слова обретают некий магический характер и в своем новом, особом статусе уже не годятся для выражения обыденного смысла.

Слова-оскорбления, похоже, повинуются тому же парадоксу, что бранные. Желание обидеть должно бы, кажется, найти определение чего-то гнусного, однако в жизни степень оскорбительности слова маловато связана с реальным содержанием. Например, жесточайшим оскорблением у лондонцев служит «бастард», хотя значение «внебрачное дитя» вообще едва ли оскорбительно. Худшее оскорбление для женщин и в Лондоне и в Париже – «корова», что скорее могло бы звучать комплиментом, ведь корова одно из самых симпатичных животных. Очевидно, оскорбительным слово становится лишь потому, что его таким назначают и воспринимают, независимо от лексической основы. Значение слов, в особенности бранных, это всегда лишь выбор общественного мнения. Очень любопытно наблюдать, как меняется тональность выражения при его переходе через границу. В Англии вы спокойно и без возражений печатаете *Je m'en fous*^[115] – во Франции только *je m'en f...* Или еще пример, наш «барншут», искаженное индийское «бахиншу», – в Индии нецензурное грубое оскорбление, а в Англии мягкое подтрунивание. Мне даже довелось увидеть это слово в школьном учебнике, где комментатор пьесы Аристофана предложил его для толкования тарабарщины, произносимой персидским послом. Думаю, комментатор скорее всего знал о подлинном значении «бахиншу»^[116], но так как слово было иностранным и потерявшим магически-бранное качество, он счел его вполне печатным.

Заметным свойством грубых лондонских слов является также то, что их не употребляют в женском обществе. У парижан иначе. Парижский работяга, может быть, и предпочитает не выражаться при дамах, но соблюдает установку не слишком жестко, да и сами парижанки изъясняются весьма вольно. В этом пункте лондонцы более вежливы или, если угодно, педантичны.

Таковы несколько моих довольно случайных заметок. Жаль, что специалисты не ведут ежегодных учетных книг лондонского сленга и сквернословия, с фиксацией всех изменений. Это могло бы пролить свет на формирование, развитие и отмирание живой лексики.

Двух фунтов, взятых в долг у Б., хватило дней на десять. На столь продолжительный срок исключительно благодаря Падди, наученному в своих скитаниях экономить и полагававшему даже одну нормальную трапезу в день безумным мотовством. Едой в его понимании был просто хлеб с маргарином – вечный «чай-с-двойным-бутером», способный обмануть желудок на час-другой. Падди приучал меня жить (есть, спать, курить и пр.) из расчета полкроны в сутки. Кроме того он умел ближе к ночи подработать несколько шиллингов «лучником»; заработок незаконный, рискованный, зато реальный и немного пополнявший наш бюджет.

Однажды мы пытались устроиться «сэндвичами» (топтаться среди прохожих, таская на себе складной рекламный щит). С пяти утра начали обходить конторы, но в переулках у служебных входов уже стояли очереди по тридцать-сорок соискателей и через пару часов выяснилось, что для нас работы нет. Потеряли мы немного, работа сэндвичей незавидна: шиллинга три за десять часов труда – сурового труда, особенно в непогоду, когда и отойти, укрыться где-то нельзя из-за частых проверок, на месте ли ходячая реклама. Дополнительная неприятность в том, что тут нанимают на день, изредка на три дня и никогда на неделю, то есть каждое утро для начала нужно часами маяться в очередях. Количество безработных, согласных на любое место, вынуждает покорно принимать условия нанимателей. Мечта всех сэндвичей – по тому же тарифу раздавать прохожим листовки. И если вам на улице протянут очередной листок, возьмите, сделаете человеку доброе дело, поможете ему скорее справиться с нормой и освободиться.

Тем временем продолжалось наше ночлежное житье – существование под гнетом беспробудной убийственной скуки. Днями напролет все занятия это сидеть в подвальной кухне, изучая вчерашнюю газету или же, когда достанется, затрепанный номер «Юнион Джека»^[117]. Бесконечно шли дожди и от входивших с улицы валил пар, вонь на кухне стояла жуткая. Единственным волнующим событием являлся периодический чай-с-двойным-бутером. Не знаю, сколько людей в Лондоне прозябают подобным образом, должно быть тысячи, не меньше. Однако Падди блаженствовал, переживая лучшую пору за два последних кочевых года, ибо походные привалы и случаи разжиться парочкой шиллингов ему нравились, а вот длинные марши по дорогам несколько меньше. Вечное его нытье – не ныл Падди только с набитым ртом, – очень внятно доказывало, какой пыткой

была для него безработица. Ошибка думать, что уволенный горюет лишь о потере заработка; нет, простому некнижному человеку, у которого в костях врожденная привычка трудиться, работа нужна даже больше, чем деньги. Люди с образованием еще способны переносить вынужденное безделье, одно из худших зол нищеты, но подобные Падди, не умеющие занять себя, без дела мучаются, как собаки на привязи. И нечего так уж лить слезы над теми, кто «с высоты брошен на дно жизни». Те, кто на этом дне от самого рождения, у кого мозг не заполнен и безоружен перед нищетой, – они действительно достойны жалости.

Мглу наползавшей унылой одури рассеивали лишь беседы с Чумарем. Однажды приключилось нашествие духовных просветителей трущобного грешного мира. Еще подходя к дому, мы с Падди услышали несущуюся из подвала музыку. Внизу, на кухне творили душеспасительный обряд три строго и солидно одетые персоны: почтенный пожилой джентльмен в сюртуке, леди, игравшая на портативной фисгармонии, и лишенный подбородка безусый кукленок с распятием. Похоже было, что команда заявила и развернула свое действие без какого-либо приглашения.

Весьма забавно выглядела реакция квартирантов. Ни малейшей грубости относительно вторгнувшихся благодетелей – их просто не замечали. В дружном согласии вся публика (примерно человек сто) вела себя так, словно пришельцев не видела, не слышала; терпела увещевания и псалмы, внимая им не больше, чем писку мошек. Ни слова из проповеди джентльмена в сюртуке не пробивалось сквозь обычный шум песен, ругани и гремящих кастрюль. Народ ел, пил, резался в карты чуть не вплотную с фисгармонией, мирно допуская это соседство. Никем не оскорбленные, всего лишь незамеченные, просветители вскоре закончили и удалились. Без сомнения, их утешало сознание собственной отваги, побуждавшей «самоотверженно идти в логово низости и порока» и т. п.

По словам Чумаря, эти господа наведывались регулярно несколько раз в месяц, и не пустить их, столь авторитетных для полиции, «полномочный» не мог. Любопытна человеческая уверенность в праве поучать, наставлять вас на путь истинный, едва доход ваш падает ниже определенной суммы.

К десятому дню два фунта от Б. усохли до шиллинга девяти пенсов. Оставив восемнадцать пенсов на ночлег, три пенса мы с Падди истратили на один обязательный и честно разделенный чай-с-двойным-бутером, не столько утоливший, сколько увеличивший аппетит. В полдень настиг чертовский голод, тогда Падди вспомнил про церковь возле станции Кингс-кросс, где раз в неделю для бродяг бесплатный чай. Поскольку день был подходящий, мы решили туда сходить. Чумарь же, несмотря на дождь и

совершенно пустой карман, от этого похода отказался, сказав, что церкви не его стиль.

У ворот храма теснилась добрая сотня жаждущих, всякая шантрапа немытая, которая тучей слетается к объявленным даровым чаепитиям, как коршуны к издохшему быку. Вскоре ворота отворились, и пастырь с какой-то подручной пастушкой повели нас на хоры. Принадлежавшая евангелистам, церковь была угрюма и демонстративно уродлива, с надписями, возвещавшими кровь и пламень, и сборником псалмов, коих насчитывалось тысяча двести пятьдесят один и которые я, полистав страницы, мог бы предложить в качестве антологии наихудших стихотворений. Вслед за чаем ожидалась служба, поэтому на дне церковного колодца сидели прихожане; постоянной паствы в связи с будним днем собралось всего несколько дюжин, главным образом пожилые жилистые дамы, напоминавшие отварных кур. А наверху шло чаепитие: каждый из нас получил фляжку чая и шесть ломтиков хлеба с маргарином. Едва еда была проглочена, десяток бродяг, разместившихся поближе к лестнице, сбежали, увильнув от проповеди и молитв; остальные – не более благодарные, но менее наглые – продолжали сидеть.

Орган издал несколько предварительных воющих вздохов, и служба началась. И тотчас, будто по сигналу, бродяги начали хулиганствовать самым непотребным образом. Нельзя было представить что-либо подобное в церкви. По всей кольцевой галерее люди, развалясь на скамьях, галдели, хохотали, стреляли сверху в прихожан хлебными шариками; мне пришлось чуть не силой удерживать соседа, желавшего закурить. В богослужении евангелистов бродягам виделось зрелище чисто комедийное. Действительно, служба с бесконечными молитвами-импровизациями и внезапными воплями «аллилуйя!» была достаточно комична, но выходки гостей переходили всякие границы. Среди паствы выделялся один особо рьяный прихожанин, именовали его здесь Брат Бутл, он чаще прочих оглашал свой молитвенный призыв, и каждое его выступление наверху встречали, неистово стуча ногами, словно на театральной галерке; прошлый раз, сказали мне, Брат Бутл импровизировал молитву целых полчаса, пока сам пастор не прервал его. Когда Брат Бутл в очередной раз поднялся, кто-то из бродяг гаркнул на всю церковь: «Два к одному – не меньше семи минут отхватит!». А перед тем мы своим гоготом совершенно заглушили проповедь. Иногда снизу раздавалось негодующее «тише!», но впечатления это не производило. Мы настроились на веселое буйство, и ничто не могло нас усмирить.

Дикая, довольно отвратительная сцена. Внизу горстка обычных

добропорядочных людей с трудом пытается молиться, а наверху те, кого эти люди накормили, изо всех сил стараются им помешать; глумятся, скалятся плотным кольцом чумазных обросших физиономий. Чем несколько женщин и стариков могли обуздать сотню разбушевавшихся бродяг? Они боялись нас, а мы их откровенно задирали. Мстили за унижение взявших от них подачку.

Пастор, кстати, оказался храбрецом. Твердо прошел сквозь длинную грозную проповедь о Иешуа-Иисусе, сумел почти проигнорировать наш гвалт, наше хихиканье. Под конец только, видимо исчерпав ресурс выносливости, громко объявил: «Последние минуты проповеди я обращаю к грешникам **неспасаемым**». Сказал и вскинул лицо к галерее, простояв так минут пять, дабы не осталось сомнений в том, кому именно не спастись. И думал, что задел нас! Даже когда пастор грозил геенной огненной, мы скручивали себе сигарки, а с последним «аминь» загрохотали вниз по лестнице, хохоча, договариваясь вновь прийти сюда на чай через неделю.

Случай заинтересовал меня. Очень уж это отличалось от обычного поведения бродяг – привычки кланяться и пресмыкаться за милостыню. Дело тут, конечно, было в значительном численном превосходстве, что позволило осмелеть. Принимающие подавание практически всегда глубоко ненавидят благодетелей (многократно доказанное свойство человеческой натуры), и под прикрытием толпы дружков нищий свою тайную ненависть всегда проявит.

Тем же вечером Падди неожиданно заработал на посту «лучника» еще восемнадцать пенсов; ровно столько, чтобы купить нам еще сутки в ночлежке, а что касается еды, пришлось до следующего вечера голодать. Чумарь, который мог бы нас подкормить, весь день был далеко: из-за мокрых тротуаров ушел на улицы Кастла и Элефанта, зная там несколько точек под навесами. К счастью, у меня оставалось кое-какое курево, так что денек выдался все же не самый худший.

В половине девятого Падди повел меня на набережную, где, как ему было известно, раз в неделю некий священник раздает талоны на еду. Под мостом Чаринг-кросс ежились, отражаясь в дрожащих лужах, полсотни человек. У некоторых вид поистине устрашающий; жильцы набережной это отбросы еще более низкой категории, чем квартиранты торчков. Помню одного – подвязанное веревкой пальто без пуговиц, рваные брюки и ботинки, из которых торчали голые, даже не обмотанные пальцы. Бородатый как факир, он все время почесывался, соскребая с груди и плеч жуткую черную гадость вроде мазута, но и сквозь грязь, щетину

различалось гипсовой белизны лицо, обескровленное какой-то зловещей хворью. А говорил он, я слышал, довольно грамотно, речью клерка или же продавца хорошего магазина.

Вскоре явился ожидаемый священник, и люди выстроились в том порядке, как приходили. Священник – миловидный, упитанный, с почти детским румянцем, внешне до странности напоминавший моего парижского приятеля Шарля, – был очень застенчив; ограничившись коротким и смущенным «добрый вечер», быстро пошел вдоль ряда, вручая талоны, не дожидаясь изъявлений благодарности. В итоге благодарность и возникла, священника признали «отличным,...! малым». Кто-то (думаю, именно для ушей скромного церковника) крикнул: «Уж **этот** е... епископом не станет!», что, разумеется, означало величайший комплимент.

Талоны, по которым должны были накормить на шесть пенсов, адресовались столовой неподалеку, где хозяин, пользуясь отсутствием у бродяг выбора, давал за талон максимум на четыре пенса. Объединив свои талоны, мы с Падди получили столько, сколько в обычном кафе взяли бы пенсов за семь-восемь. То есть из фунта, честно раздававшегося священником, мошенник каждую неделю клал в карман не меньше семи шиллингов. И ограблениям такого рода бродяги подвергаются постоянно, и будет это продолжаться до тех пор, пока социальная помощь будет идти талончиками вместо денег.

Вернулись мы с Падди по-прежнему голодные и околачивались в кухне, наслаждаясь за неимением еды печным теплом. Только к одиннадцати прибыл Чумарь, измученный, еле доковылявшей на вывернутой, жутко нывшей ноге. Все точки под навесами разобрали и заработать скриверством не вышло, поэтому, кося глазом на полисменов, он просто попрошайничал. Насобирав восемь пенсов – пенни не добрал на кип. Вообще и час уплаты за ночлежку давно прошел, но он сумел проскользнуть в дом за спиной полномочного; теперь в любой момент его могли поймать, выставить ночевать на улицу. Чумарь достал все из карманов и осмотрел имущество, раздумывая, что продать. Выбрал он бритву, пошел с ней по кухне, через несколько минут выручил три пенса – хватало и койку оплатить, и купить кружку чая, да еще полпенса оставалось.

С кружкой в руках Чумарь сел возле печки обсушиться. Прихлебывая чай, он посмеивался, будто повторял про себя какой-то очень остроумный анекдот. Я удивленно спросил о причине веселья.

– Это ж умора драная! – сказал он. – Прямо для «Панча»^[118]! Чего, по-твоему, я учудил?

– Что?

– Бритву-то загнал, а сам вначале даже не побрился! Вот уж из всех придурков самый...!

Он с раннего утра не ел, бог знает сколько отшагал на искалеченной ноге, насквозь промок, защитой от голодной смерти имел полпенни. И при всем том мог шутить над своим значительным убытком. Им нельзя было не восхищаться.

Наутро нашим капиталам пришел полный конец, и мы с Падди отправились в торчок. Потопали по Олд-Кент-роуд к городку Кромли; лондонские торчки, куда недавно навещавший их Падди пока являться не решался, для нас были закрыты, так что шестнадцать миль прогулки по асфальту, натертые на пятках волдыри, зверски оголодавшие желудки. Падди неотрывно обследовал мостовую, запасаясь перед торчком окурками. В конце концов это усердие было вознаграждено найденным пенни, мы купили толстый ломоть черствого хлеба и сжевали его на ходу.

В связи со слишком ранним для торчка прибытием маршрут наш удлинился походом в окрестности Кромли, к полосе защищавших луг посадок, под сенью которых можно было передохнуть. Судя по вытоптанной траве, клочьям газет и ржавым банкам, место служило популярным кочевым становищем. Понемногу подтягивались и другие странники. Стоял чудесный осенний день. Рядом пышно густели заросли пижмы; даже сейчас мне будто ударило в ноздри ее резким и сильным ароматом, перебивавшим тяжелый бродяжий запах. В поле два крестьянских жеребенка, рыжевато-бурых с белыми гривами и хвостами, грызли калитку изгороди. Взмокшие бродяги обессилено валились на землю. Кто-то собрал хворост, разжег костер, и все мы пили пустой чай без молока из оловянного «барабана», передавая его по кругу.

Затем начались рассказы. Наиболее оригинальным типом в этой компании был некий Билл – закоренелый нищий старой классической породы, могучий как Геркулес и стойкий идейный враг труда. Хвастался, что с его мускулатурой работу находил когда хотел, но, дотянув до первой же получки, кошмарно напивался и получал расчет. А в промежутках жил «скулежкой», обхаживая главным образом владельцев лавочек. Говорил он примерно следующее:

– Я дале как до... Кента не ходок. Народ тугой там, кентский-то. У их там скулежников уж больно много вьется. Ихний... пекарь булку в яму лучше скинет, а те не даст. Вот Оксфорд да, самое место где скулить, Оксфорд-то да. И хлеба выскулишь, и бекона, и мяса, и в каждый вечер от студентов те рыжаков на кип накрапает. А одну ночь вот припоздал я, а чуток бы еще для кипа надо, так я иду к попу приходскому – скулю три пенса. Поп мне мои три пенса в руку и прям, змей, враз через секунду копу меня сдает. «Ты попрошайством занимался», – говорит коп. «Не, –

говору, – разок только у джентльмена попросил». Коп тут пошел меня трясти, ковырнул у меня с-за пазухи фунт мяса да две буханки хлебные. «Ну, – говорит, – а это чего ж такое? Двигай живо в участок». Клюв^[119] мне семь суток припаял. Чтоб я еще когда скулил у этих попов...! Нет уж, к чертям! Чтоб вот неделю в камере-то схлопотать?...

По– видимому, эта жизнь целиком строилась вокруг «наскулить, напиться и схлопотать». Однако сам Билл хохотал, описывая свои похождения как грандиозную потеху. И хотя он вроде не слишком уж разбогател своей скулежкой (всей одежды лишь плисовый костюм, шарф, кепка, ни белья, ни носков), но был и толст и весел, даже пахивал пивком – редчайший запах от бродяг наших дней.

Двое недавно посещавших торчок в Кромли рассказали про тамошнее привидение. Несколько лет назад, поведали они, в торчке этом случилось самоубийство: протаскивший бритву бродяга ночью зарезался. При утреннем обходе дверь в каморку зажалось изнутри телом покойника, открыть ее открыли, но сломали мертвецу руку. Мщения ради, мертвец начал регулярно являться в свою последнюю келью, и всякому, кто ночевал там, после не удавалось прожить и года (случаев уже, разумеется, полным-полно). Теперь, когда в Кромли придешь и дверь если у тебя застревает, беги как от чумы – та самая клетушка, с призраком.

Два бывших моряка рассказали другую жуткую историю. Некий хитрец (рассказчики клялись, что знали его) придумал зайцем проехать на пароходе, шедшем в Чили. Грузили судно товаром в больших деревянных коробах, и он, найдя помощника среди докеров, спрятался в одном таком ящике. Только вот докер перепутал порядок загрузки. Кран, подцепив короб с сидевшим внутри безбилетником, поднял его и на судно поставил – на самое дно трюма, под многие тонны прочего груза. Никто ничего не узнал до конца рейса, когда безбилетника обнаружили уже гниющим, умершим от удушья.

Следующий рассказчик напомнил о Гилдрое, шотландском разбойнике: Гилдроя приговорили к виселице, а он убежал, захватил приговорившего судью и сам – шикарный парень! – судью повесил. Бродяги любят конечно героев исторических, но интересно, как они сюжеты о героях переиначивают. Скажем, по их версии Гилдрой бежал в Америку, хотя известно, что его поймали и казнили. Правка несомненно делается сознательно, целенаправленно – точно так же дети подправляют истории Самсона и Робин Гуда счастливыми, то есть весьма фантастичными, концовками.

В русле исторических повествований один очень старый бродяга

заявил, что статья о «покушении на жизнь» возникла из-за случаев, когда дворяне в старину травили кусачими гончими людей вместо оленей. Некоторые смеялись, но в голове у старика крепко сидела своя идея. Что-то понаслышке ему было известно и насчет «Хлебных законов», и насчет «права первой ночи» (которое он полагал доньше существующим), и о «Великом мятеже»^[120], который он – путая, видимо, с крестьянскими бунтами, – считал восстанием бедняков против богачей. Вряд ли старик умел читать, во всяком случае он безусловно не пересказывал статьи в газетах. Долетевшие до него обрывки исторических сведений передавались бродягами из поколения в поколение, возможно на протяжении веков. Отзвук древней устной традиции, слабое эхо средневековья.

В шесть вечера мы с Падди вошли в торчок, в десять утра вышли оттуда. Ничего нового после торчков Ромтона и Эдбери, и привидение нам не явилось. Зато завязалось знакомство с парочкой бывших рыбаков из Норфолка, Вильямом и Фредом, озорными ребятами, большими любителями песен. Украшавшую их репертуар «Бедную Беллу» стоило записать. Впрочем, прослушав «Беллу» в следующие двое суток раз десять, я запомнил ее наизусть и перевру лишь словечко-другое. Песня такая:

Была она юной, была она чистой,
Глаза-бирюза, голосок серебристый,
О, бедная Белла!
Ясным солнышком нежный румянец светил,
Но в кудрявой головке лишь ветер кружил,
И однажды с пути ее доброго сбил
Подлый, злой, бессердечный изменщик.

Так была молода, не взяла она в толк,
Что коварны мужчины и путь наш жесток,
О, бедная Белла!
«Мой любимый, – смеялась она, – не такой,
Он признает дитя, буду верной женой».
Завладел ее сердцем и светлой душой
Подлый, злой, бессердечный изменщик.

Она к милому в дом, а трусливый шакал
Уж мешок на плечо и далече удрал,
О, бедная Белла!
Из поместья прогнали ее тот же час:

«Для распутных служанок нет места у нас».
Ей оставил лишь горе да слезы из глаз
Подлый, злой, бессердечный изменщик.

И бродила всю ночь у холодной реки,
И никто не узнал ее черной тоски,
О, бедная Белла!
Утро раннее сушит на камне росу,
Горе, горе! Несчастную Беллу несут.
Погубил ее жизнь и младую красу
Подлый, злой, бессердечный изменщик.

Так-то, знай, что, как юные дни ни лихи,
Отольются бедою и болью грехи,
О, бедная Белла!
Тихий снег на сырую могилу летел,
Говорили мужчины: «Таков наш удел»,
А хор женщин печальных угрюмо пропел:
«Все вы, парни, ублюдки паршивые!»
Сочинено, надо полагать, женщиной.

Фред и Вильям, исполнители этой баллады, представляли собой тот сорт отпетых прохиндеев, из-за которых у бродяг дурная слава. Узнав случайно, что в торчке Кромли собран запас старой одежды для раздачи вконец оборванным гостям, ребята на подходе к торчку сняли башмаки, кое-где распоролы швы, частично отодрали подошвы и потом заявили с просьбой о помощи. При виде их драных подметок бродяг-майор выдал две пары почти новой обуви, наутро сразу же, чуть ли не возле выхода проданной за шиллинг и девять пенсов. За такие гроши привести практически в негодность свои хорошие ботинки парням казалось дельцем стоящим.

Из торчка все мы длинным унылым караваном побрели на юг, в сторону Нижнего Бинфилда и Айд-Хилла. По дороге случилась драка: двое вдруг поссорились (глупейший *casus belli*^[121] состоял в том, что один сказал другому «больше жри», а тому послышалось «большевик» — смертельное оскорбление) и схватились посреди поля. Около дюжины зрителей остались наблюдать. В память мне врезалась деталь — поверженный противник падает и слетевшая кепка обнажает белизну

совершенно седой шевелюры. Потом кто-то из нас вмешался, драку прекратили. Падди тем временем провел дознание, выяснив в итоге, что истинной причиной ссоры был как всегда дележ убогих крох съестного.

В Нижний Бинфилд мы прибыли совсем рано; чтобы занять время Падди отправился по дворам в поиске работенки. У одной задней двери ему наконец велели разобрать ящики на дрова, он в качестве необходимого помощника привел меня, и мы вдвоем все сделали. Тогда хозяин распорядился напоить нас чаем. Не забуду, с каким испуганным видом служанка вынесла поднос и, обомлев на полпути от страха, поставив чай наш прямо на дорожку, бросилась обратно в дом скорей закрыться. Такой ужас внушает само слово «бродяга». Получив за работу по шесть пенсов, мы купили трехпенсовый каравай и пол-унции табака, пять пенсов оставили про запас.

Наши пять пенсов Падди для страховки решил припрятать ввиду слухов о деспотизме местного бродяг-майора, который обладателей даже столь скудного капитала мог в торчок не пустить. Вообще бродяги имеют обыкновение прятать деньги, зашивая контрабандные суммы в одежду, что карается арестом (если поймают, разумеется). У Чумаря и Падди была на эту тему славная байка. Однажды некого ирландца (ирландцем называл его Чумарь, а Падди – англичанином), отнюдь не нищего, имевшего при себе целых тридцать фунтов, занесло в деревушку, где ему не удалось устроиться на ночь. Какой-то встреченный им бродяга посоветовал пойти в ближайший работный дом. Рекомендация здравая: негде переночевать – иди и за весьма умеренную цену возьми спальное место в приюте. Ирландец, однако, решил быть самым умным и даром получить такой ночлег, прикинувшись обычной бездомной голью. Тридцать фунтов он зашил под подкладку. Между тем, консультант его, который все наблюдал, пошел в тот же торчок, а там тихонько договорился с надзирателем – отпросился утром уйти пораньше, якобы на работу. И в шесть утра спокойно убыл, облачившись в костюм ирландца. Начал было ирландец жаловаться на грабеж, но получил только тридцать суток за незаконное вторжение в приют для неимущих.

Устало растянувшись на травке сквера Нижнего Бинфилда, мы лежали под неусыпным наблюдением глазевших в дверные оконца своих коттеджей местных жителей. Подошли священник с дочерью, некоторое время молча рассматривали нас, как рыб в аквариуме, потом ушли. Ожидающих постепенно собралось несколько дюжин. Явились, распевая очередную песню, Вильям и Фред, и те двое, что по пути дрались, и Билл-скулежник, успевший выскулить в пекарне черствых буханок, спрятанных за пазухой на его голой под курткой груди, а теперь, к нашему общему удовольствию, разделенных на всех. Была и женщина, первая женщина, которую я видел среди бродяг. Потрепанная и заляпанная грязью толстуха лет шестидесяти, в длинной, волочившейся по земле черной юбке, она сидела с чрезвычайно надменным видом, и, едва кто-нибудь располагался рядом, презрительно отсаживалась дальше.

– Куда путь держите, сударыня? – спросили ее.

Она лишь повела глазами и фыркнула.

– Да вы, сударыня, не дуйтесь, подсаживайтесь! Мы ж тут одна команда-то!

– Спасибо, – горько проронила толстуха. – Мне как захочется в компанию с **бродягами**, так я уж вам сообщу.

Необычайно выразительно произнесла она «с бродягами» – вспышкой высветило всю душу, куцую бабью душонку, ничего не увидевшую, не понявшую за годы нищенских скитаний. Наверняка в прошлом благочестивая чинная вдовица, которую скинуло на дорогу неким дьявольски ироничным случаем.

Торчок открылся в шесть. День был субботний; это означало, что нам придется взаперти сидеть весь уик-энд (откуда взялось правило, не знаю – возможно, вследствие смутного ощущения связи между заслуженными выходными и безобразным поведением). При регистрации я записался как «журналист». Ближе к истине, чем «живописец», поскольку иногда мне что-то платили за статьи, но очень глупо, ибо привлекло внимание начальства. Как только нас ввели внутрь и построили для обыска, меня вызвал бродяг-майор. Сухой и жесткий, с солдатской выправкой, похожий не на бандита, каким его заочно представляли, а на старого честного рубаку, командир резко бросил:

– Кто тут Бланк?

(До меня не сразу дошло, что это моя, присвоенная мной фамилия).

– Я, сэр.

– Так значит журналист?

– Да, сэр, – ответил я, трепеща. Самый поверхностный допрос мог обнаружить мое вранье и кончиться арестом. Но командир, лишь смерив меня взглядом с ног до головы, сказал:

– Джентльмен, стало быть?

– Хотелось бы полагать.

Он удостоил меня еще одним долгим взглядом, кивнул: «Ясно, драная неудача сшибла; подсекла, значит, драная» – и затем относился ко мне с очевидным благожелательным пристрастием, даже определенной почтительностью. Избавил от обыска, выдал перед мытьем (неслыханная роскошь!) отдельное чистое полотенце. Столь властно звучит титул «джентльмена» для честных солдатских ушей.

В семь нас, проглотивших свой чай с хлебом, отправили по клетушкам, на сей раз одиночным, с топчаном и соломенным матрасом, то есть дававшим наконец возможность хорошо выспаться. Но идеальных торчков не бывает, и специфическим дефектом Нижнего Бинфилда оказался холод. Отопление не работало, два тоненьких бумажных одеяльца почти не грели, а уже несмотря на осень начались суровые заморозки. Все отведенные для сна двенадцать часов прошли в непрерывном верчении с боку на бок, чередовании минутных сонных провалов и будившего озноба. К тому же не закурить – так ловко спрятанный в пиджаках табак вместе с этими пиджаками до утра оставался недостижимым. По всему коридору слышались из-за дверей стоны, порой переходящие в проклятья. Вряд ли хоть кто-нибудь проспал здесь более часа, от силы двух.

После завтрака и медосмотра бродяг-майор согнал нас всех в столовую и там запер. Неописуемо тоскливый, воняющий тюрьмой, заставленный рядами длинных грубых столов и лавок каменный сарай, в зарешеченные окошки высоко над головой не посмотреть, по голым выбеленным стенам никаких украшений кроме казенных часов и циркуляра о местных правилах. Набитые по лавкам как сельди в бочке, мы уже изнывали от скуки, а было еще только восемь утра. Заняться нечем, обсуждать нечего, даже нет места просто размять мышцы. Единственное утешение – курежка, к этому проступку здесь, если за руку не ловили, относились довольно снисходительно. Тщедушный, с гривой лохматых волос бродяжка шотландец, простецки изъяснявшийся жаргоном окраин Глазго, остался без курева (при обыске его жестянка с окурками выпала из ботинка), и я отсыпал ему табака. Дымили мы украдкой; едва слышалось приближение

бродяг-майора, мигом, как школьники, совали самокрутки в карман.

Вот так, без дела, без движения, без воздуха, большинство бродяг просидели десять часов подряд. Бог знает, как они сумели это выдержать. Лично мне повезло: через пару часов начальник забрал несколько человек для различных подсобных работ и меня отрядил на самое желанное место – при кухне. Снова, подобно выдаче чистого полотенца, сработал завораживающий чин «джентльмена».

Поскольку никакой работы на кухне не было, я тихо шмыгнул под навес, где хранилась картошка и где в тот час несколько постоянных здешних обитателей скрывались от воскресной церковной службы. Имелись ящики, чтобы с комфортом посидеть, прошлогодние номера «Семейного вестника», даже ветхий библиотечный экземпляр «Рэфлза»^[122]. Приютские занятно говорили о жизни в работном доме. В частности, о том, что самое ненавистное для них – униформа, это позорное клеймо благотворительности, а если бы разрешалось носить свою одежду, ну хоть только кепку и шарф, так они и не против жить тут (в статусе нищих, под почти тюремным надзором). Обед мне дали настоящий, от общего стола: порции для удава, я так не объедался со дня дебюта в «Отеле Икс». Затем повар велел мне вымыть посуду, собрать и вынести объедки. Количество оставшейся в тарелках еды изумляло, в данных обстоятельствах – ужасало. Сваленная грязным месивом вместе со спитым чаем, половина всего – и мяса, и ломтей хлеба, и овощей – на помойку. Я набил пять мусорных баков еще весьма съедобной пищей, в то время как у полусотни бродяг в торчке пустое брюхо ныло после обеда из куска хлеба с сыром и, может, пары добавленных в честь воскресения холодных вареных картофелин. Политика благоволения к послушным, строго опекаемым нищим сознательно предпочитает скорее выкинуть еду, чем дать бродягам.

Около трех я вернулся в торчок. Просидевшие уже восемь часов в такой тесноте, когда и локоть не отвести, бродяги одуревали от скуки. Даже курение закончилось, ведь бродяжий табак добывается из окурков и быстро иссякает вдали от мостовых. Разговоры тоже почти прекратились, люди просто сидели, уставясь в пустоту, обросшие щетиной лица раздирали зевками во всю пасть. Царство тоски-печали.

Падди, чья задница совершенно онемела на жесткой лавке, хандрил и от нечего делать вяло беседовал с не очень похожим на бродягу молодым плотником, носившем воротничок и галстук, скитавшемся, по его словам, из-за отсутствия инструмента. Держался юноша несколько в стороне от остальных, считая себя не бездомным бедняком, но, скорее, вольным странником; таскал с собой обнаруживавший вкус к литературе томик

«Квентина Дорварда»^[123]. В торчки, сказал он, его загоняет лишь крайняя нужда, гораздо лучше ему спится в стогах или же под кустами живых изгородей. Он обошел все южное побережье, питаюсь подаванием и ночуя в летних купальнях.

Заговорили о бродяжьей жизни. Молодой человек раскритиковал систему, которая полсуток держит бродягу в торчке, а остальные часы велит шляться туда-сюда, дрожа перед полицией. Свой случай – вот уже шесть месяцев общество его содержит, но нескольких фунтов купить рабочий инструмент не находится, – он назвал «сущим идиотизмом».

Тогда я рассказал ему о кухонных объедках в работном доме, высказав свое мнение на этот счет. И тут проснулся спящий в каждом британском пролетарии строгий и благонравный прихожанин. Столь же голодный, как толпа его соседей, молодой человек сразу усмотрел резоны, по которым пищу лучше отправить на помойку, нежели скормить бродягам. Последовало весьма суровое наставление:

– Нельзя иначе. Сделайте условия в таких приютах чуть получше, сюда хлынет вся накипь со всей страны. Только дрянной кормежкой и отгонишь. Бродяжат негодяи, потому что работать не хотят, ничем их не исправишь и нечего миндальничать с этой швалью.

Я начал возражать, доказывать, но он не слушал, продолжая твердить:

– Да не жалейте вы этих бродяг, всю эту накипь. Вы о них не судите, как о нас с вами. Шваль, она и есть шваль».

Примечательно, с какой виртуозностью ему удавалось отделять себя от «всех этих бродяг». Дороги трамбовал уже полгода, но полагал, что, милостью Господней, сам не бродяжит. Мне представляется, на свете очень много бродяг, благодарящих Господа за то, что они не бродяги. Вроде туристов, обожающих насмехаться над туристами.

Еле– еле проползли три часа. В шесть принесли ужин, оказавшийся совершенно несъедобным: хлеб, черствый еще утром (нарезанный накануне, в субботу вечером), приобрел твердость корабельных сухарей. К счастью, он был намазан салом, оставшимся от жарки мяса; этим застывшим салом, соскребая его, мы и поужинали, все же лучше, чем ничего. Четверть седьмого нас отправили спать. Прибыла свежая партия бродяг, смешивать группы не положено (из опасения инфекций), так что в отсеки поместили новеньких, а нас отвели в спальни. Моя спальня была большой коробкой, с тридцатью койками почти вплотную и бадьей в качестве горшка. Мерзкая вонь, всю ночь хождения, кашель стариков, зато так много спящих, что комната согрелась и мы кое-как подремали.

После очередного утреннего медосмотра, получив на дорогу

очередной кусок хлеба с сыром, мы разошлись. Уходя, Фред и Вильям, гордые обладатели целого шиллинга, накололи свои ломти хлеба на острые шипы ограды – в знак протеста, как они заявили. Уже второй кентский торчок донимал парней слишком жестким распорядком, и они отвечали приливом необычайно, на их взгляд, остроумного озорства. А вообще весельчаки большая редкость среди бродяг. Какой-то дурачок (в любом скоплении бродяг найдется слабоумный), ноя, что у него нет сил идти, цеплялся за ворота, пока бродяг-майор не отодрал его и не поддал пинка. Мы с Падди повернули на север, к Лондону. Большинство остальных поплелись дальше, к Айд-Хиллу, обсуждая тамошний торчок, по общему мнению худший в Англии^[124].

Снова сиял чудесный осенний день, вокруг тихо, машины пробегали очень редко. Воздух – волшебный аромат шиповника после зловонной смеси пота, мочи и хлорки. Мы шли вдвоем; казалось, мы единственные на дороге. Вдруг сзади торопливый топот, кто-то нас окликает: шотландец, тощенький бродяжка из Глазго, задыхаясь, догнал, вытащил из кармана ржавую жестянку и приветливо, облегченно разулыбался:

– На-ка, браток, – сказал он от души. – Моих чинариков курни. Дымком вчера меня одалживал, а мне на выходе махру-то мою воротили. А за добро добром надо ответно – на-ка вот.

И он положил мне на ладонь пяток сплюснутых, сыроватых, изжеванных окурков.

Несколько общих замечаний насчет бродяг. Бродяга, если хорошенько вдуматься, явление очень странное. Не странно ли, что целое племя десятками тысяч людей должно безостановочно ходить из конца в конец Англии, как толпы Агасферов^[125]? Вопрос, конечно, требует ответа, но нельзя приступить к выяснению, не избавившись вначале от некоторых предрассудков. Все они основаны на уверенности в том, что каждый бродяга *ipso facto*^[126] подлец. О подлости бродяг нам твердят с самого детства, и в сознании складывается образ типичного, так сказать идеального, бродяги – гнусного и довольно опасного существа, которое под страхом смерти не заставишь работать или мыться, которое желает только кланчить, пьянствовать и воровать кур. Образ не более правдоподобный, чем зловещий Китаец из комиксов, но прочно застрявший в мозгах. «Бродяга» мысленно сразу переводится как «страшилище», чьей черной тенью застилает картину реальных проблем.

Главное – ответить **почему** вообще существуют бродяги. Кстати, очень мало кому известно, что же толкает человека слоняться по дорогам. Вследствие глубокой веры в бродягу-монстра называют разные, большей частью мнимые причины: говорят, например, что бродяжат бродяги дабы увиливать от работы, жить поданным дармовым куском, вольготно разбойничать, даже (самое фантастичное) – потому что им нравится бродяжить. В одном трактате по криминологии мне и такое встретилось: бродяга это исторический атавизм, возврат к общественной кочевой стадии. Между тем, совершенно очевидная причина прямо перед глазами. Никакой это, разумеется, не атавистический кочевник, иначе коммивояжеры тоже атавизм. И не ради беспечной жизни люди бродяжат, а по той же причине, по которой автомобиль держится левой стороны, – действие жестко определено законом. Для неимущего, если о нем не позаботилась община, единственная помощь в специальных временных приютах, и так как убежище только на одну ночь, человека автоматически гонит из пункта в пункт. Надо бродить, согласно положениям закона, либо сидеть и умирать голодной смертью. Увы, воображение людей, впитавших образ бродяги-монстра, отдает предпочтение мотивам так или иначе злодейским.

Немного же, однако, остается от этого злодея после честного изучения фактов. Допустим, общепринятое мнение о страшной, бандитской натуре бродяг. Без всяких конкретных примеров можно *a priori*^[127] утверждать,

что таковых считанные единицы, – будь бродяги действительно опасны, с ними и обращались бы соответственно. Но в приютах, за смену принимающих по сто гостей, командуют толпой бродяг обычно три надзирателя. Так разве трое безоружных сторожей могли бы справиться с сотней бандитов? В реальности, понаблюдав, как бродяга позволяет всяким приютским служащим измываться над собой, видишь, что это существо на редкость покорное, забитое. Или убеждение в повальном алкоголизме бродяг – звучит просто насмешкой. Конечно, большинство из них не прочь выпить при случае, только условия жизни им случаев не дарят. Сегодня в Англии пинта мутноватой, называемой пивом водицы стоит семь пенсов; чтобы захмелеть, нужно влить в себя по меньшей мере на полкроны, а где же виданы бродяги с таким капиталом? Вот представление о нахальных паразитах на теле общества («закоренелых попрошайках») не лишено оснований, хотя справедливо для очень малого процента от общего числа. Откровенного, циничного паразитизма, присущего, судя по сочинениям Джека Лондона, американскому бродяге, в английском характере нет. У заедаемых пуританской совестью англичан намертво вбитое ощущение греховности нищенства. Англичанина, который сам захотел бы стать паразитом, невозможно представить, и национальный тип сознания вряд ли особенно изменишь, выгнав человека с работы. Если увидеть, помнить, что бродяга всего лишь оставшийся без работы и принужденный законом топтать дороги рядовой житель Англии, бродяга-монстр начисто исчезает. Я не настаиваю, разумеется, на ангельской натуре бродяг, я говорю только, что они из обыкновенной человеческой плоти, и если отличаются не лучшей манерой поведения, то это следствие, но не причина.

Так что отношение «корми еще всю эту сволочь!» столь же уместно здесь, как в отношении к больным или калекам. Когда ясно, до мелочей представишь бродягой себя самого, почувствуешь, на что похожа его жизнь. Невероятно пустая и крайне неприятная. Я описал хождения по торчкам – рутину бродяжьих будней, однако это лишь третье из непременно наступающих зол. Первое – голод, постоянный, едва ли не официально назначенный. Рацион приютов, видимо, даже не планировался кормить досыта, а получить что-то еще возможно только нищенством, то есть нарушая закон. В итоге от недоедания общая хилость и гнилость, в чем легко убедиться, взглянув на очередь перед торчком. Второе великое зло, вроде гораздо менее серьезное, но на деле действительно второе после голода, – бродяга лишается контактов с женщиной. Рассмотрим этот важный пункт подробнее.

Прежде всего, бродяги отлучаются от женщин тем, что в этой

социальной группе женщин чрезвычайно мало. Казалось бы, среди бездомных должен быть общий, повсеместный баланс полов. Но нет, фактически, ниже определенного уровня общество становится почти полностью мужским. Отчет Совета Лондонского графства (ночная перепись 13 февраля 1931 года) демонстрирует следующее численное соотношение бродяг^[128]:

Ночующих на улицах:

мужчин 60, женщин 18.

В негосударственных убежищах и ночлежных заведениях:

мужчин 1057, женщин 137.

В подвале церкви Св. Мартина-в-полях:

мужчин 88, женщин 12.

В муниципальных приютах и общежитиях:

мужчин 674, женщин 15.

Цифры отчетливо свидетельствуют о соотношении живущих за счет благотворительности мужчин и женщин – примерно десять к одному. Почему? Возможно, женщин меньше затрагивает безработица; возможно также, что у каждой достаточно привлекательной женщины на крайний случай отыскивается некий покровитель. Так или иначе, для бродяги это приговор к пожизненному безбрачию. Ведь если ему не нашлось спутницы своего круга, то дама с более высоким – хотя бы чуточку повыше – положением недоступна ему как солнце в небе. Причины обсуждать не стоит; понятно, что женщина никогда, почти никогда не снизойдет до кавалера, который беднее ее самой. Таким образом, с момента выхода на дорогу жестокое безбрачие. Абсолютно никаких надежд обрести жену, любовницу, какую-нибудь подругу, разве что очень изредка бродяга ухитрится скопить несколько шиллингов на проститутку.

Последствия очевидны: и гомосексуализм, и случаи насилия. А за всем этим внутренняя деградация человека, осознающего, что его даже не воспринимают в качестве брачного партнера. Сексуальный импульс – импульс без преувеличения фундаментальный, голод в этой сфере способен деморализовать почти так же, как отсутствие пищи. Не столько в муках,

сколько в медленном гниении тела и духа ужас бедности, и сексуальная подавленность весьма успешно помогает гнить. Отрезанный от женского пола, бродяга ощущает себя выкинутым в разряд калек или дегенератов. Никаким унижением не нанести большой удар по чувству собственного достоинства.

Из разряда великих зол и вынужденное безделье бродяг. Порядки у нас таковы, что бездомный или шагает по дороге, или заперт в приюте, или в ожидании мается у входа в приют. Ясно, какой это угнетающий, разлагающий образ жизни, особенно для человека малокультурного.

Помимо того можно перечислить множество мелких зол. Напомню лишь об одном – о постоянном дискомфорте, отсутствии в бродяжьем обиходе элементарнейших удобств. Люди как-то забывают, что у бродяги нет обычно никакой сменной одежды, что башмаки его не по ноге, что у него месяцами не бывает возможности посидеть на стуле. Но хуже всего, что эти мучения неизвестно зачем. Фантастически тягостная жизнь, не предполагающая какой бы то ни было цели. Трудно изобрести более тщетное занятие, чем перемещения от тюрьмы к тюрьме, вынуждающие восемнадцать часов в сутки или шагать, или тупо отсиживать взаперти. В Англии по меньшей мере десятки тысяч бродяг. И день за днем их несметные силы – силы, способные вспахать гектары пашен, выстроить кварталы домов, проложить многие мили дорог, – тратятся на бессмысленные переходы. И день за днем, для некоторых, может, десятками лет, разглядывание стен приютской камеры. На каждого бродягу расходуется минимум фунт в неделю, взамен страна не получает ничего. Бродяги кружат и кружат унылым великопостным хороводом, чисто ритуальным, какой-либо практической пользы кому-либо вовсе не предполагающим. Все идет по закону, и мы так привыкли, что нисколько не удивляемся. Хотя это поразительно глупо.

Выяснив изъяны бродяжьей жизни, поставим вопрос: можно ли как-то улучшить положение? Отчасти можно, если, например, сделать муниципальные приюты чуть более жилыми, что уже и делается в некоторых местах. Кое-где за последний год введены некоторые улучшения быта, после инспекций признанные правильными, рекомендованные для повсеместного внедрения. Но это не решает главную проблему – проблему превращения надоедливого полудохлого попрошайки в уважающую себя личность. Простым увеличением комфорта здесь не поможешь. Даже с приютами положительно роскошными (чего не будет никогда^[129]) жизнь бродяги все равно останется бесцельной, паразитической, навек отрезанной от семейного очага, пропадающей впустую для общества. Вытащить

человека со дна необходимо и возможно только работой – не трудом ради труда, а реальным делом, которое исполнителю будет выгодно. Сейчас в подавляющем большинстве официальных приютов бродяги вообще ничего не делают. Одно время их направляли, отработывая пищу, бить щебенку, но вскоре прекратили, так как гигантские, на много лет вперед, запасы щебня лишили работы настоящих дробильщиков камней. Нынешняя праздность бродяг от того, вероятно, что дела не находится. Тем не менее для них есть довольно очевидный вид полезного труда: при каждом работном доме можно было бы организовать ферму или хотя бы огород, где всякому трудоспособному гостю предоставлялась бы возможность отработать дневную норму. Фермерско-огородная продукция пошла бы на общий стол, по крайней мере что-то добавилось бы к чаю с маргариновыми бутербродами. Конечно, никогда приюты не станут полностью окупать себя, однако начнется некое продвижение к этому, а толпы бродячих клиентов будут, надо надеяться, менее обременительны. Следует отметить, что бродяга мертвым грузом виснет на шее государства не только из-за своего безделья, но также из-за плохого, подорванного скверной пищей, здоровья; принятая система живых людей теряет так же успешно, как деньги. Стоило бы испытать на практике схему с расширением рациона бродяг, самостоятельно производящих часть продовольствия.

Мне возразят, что не получится вести хозяйство фермы или даже огорода трудами ежедневно сменяемых работников. Но кем доказано, что бродяг можно держать в приюте только день? Они могли бы оставаться на месяц, хоть на год, если для них имеется работа. Их постоянные скитания нечто весьма искусственное. В настоящее время оплата работным домам идет за партию бродяг, а потому там цель скорее вытолкать одних, впустив других, и соответственно правило дольше ночи не задерживаться. За возвращение в пределах месяца штрафная недельная отсидка, тюрьма не манит, и скиталец, естественно, предпочитает хождения. Но если бы бродяги трудились на работный дом, где им давали бы нормальную еду, дело другое. Из работных домов постепенно образовались бы частично окупаемые заведения, а востребованные бродяги, оседая на том или ином месте, прекратили бы бродяжить. Делали бы что-то сравнительно полезное, ели бы как люди, жили оседлой жизнью. Со временем, при удачной реализации такого плана, они, может быть, даже перестали бы видаться жалким сбродом, смогли бы завести семью, занять приличное место в обществе.

Это лишь очень сырая идея, которую легко оспорить по многим пунктам. И все-таки она намечает путь к более достойной жизни бродяг без

дополнительных социальных расходов. Решение, в любом случае, где-то здесь. В самом вопросе «что делать с праздными полуголодными людьми?» подразумевается ответ – направить их силы на производство собственного пропитания.

Несколько слов о том, где в Лондоне бездомный может устроиться на ночлег. Кроме сугубо благотворительных учреждений нигде не найти **койки** дешевле чем за семь пенсов. Если же вы не располагаете указанной суммой, придется выбрать один из следующих вариантов.

1. Набережная. Вот что говорил относительно здешней ночевки Падди.

«С этой набережной беда, что больно рано спать туда иди. Прямо от восьми скамейку занимай, не то без места будешь, мало лавок на всех-то. И как приходишь, сразу спать старайся: в ночь застынешь, а перед утром, в четыре, патруль тебя вытурит. Кемаришь там кой-как – трамвай драный туда-сюда прямо по башке катает и с лампочек рекламных через воду в глаза искрит. И холодрыга, жуть. Которые там привычны, так эти для тепла в газеты себя обертывают, ну а хрен ли толку? Считаю, повезло сильно, когда покемаришь часа три драных».

Мне приходилось ночевать на набережной и я нахожу описание Падди абсолютно точным. Это, однако, много лучше, нежели не спать совсем, что обязательно произойдет, когда решишься провести ночь на других улицах. За исключением нескольких специально оговоренных пунктов – набережная и еще пара мест (одно позади Лицейского театра), – по лондонским муниципальным законам отдыхать ночью на улице разрешено, но уличенных в сие патруль должен сгонять. Правило из набора откровенно оскорбительных. Считается, что цель – предотвратить случаи смерти от переохлаждения, хотя ясно, что если уж бездомный умирает от голода и холода, он умрет как спящим, так и бодрствующим. В Париже этого правила нет. Там люди целыми колониями спят под мостами через Сену, в нишах подъездов, вокруг наружных вентиляционных люков метро и даже внутри самих станций. Вреда от этого не заметно. Никто, имея лучшие возможности, не станет ночевать на улице, и раз лишился человек крыши над головой, почему бы не дать ему уснуть, если он сможет.

2. «Двухпенсовый подвес». Ночевка классом чуть повыше уличной. В двухпенсовом подвесе клиентов сажают на длинную лавку, натянув перед ними канат, который удерживает спящих, как поперечная жердь клонящейся трухлявой изгороди. В пять утра человек, насмешливо называемый камердинером, канат снимает. Сам я в подвесах не бывал, но Чумарь ночевал там часто и на вопрос, можно ли вообще спать в подобном положении, ответил, что не так худо, как слабаки про то трезвонят, – лучше

уж, чем на голом полу. Подобного типа пристанища есть и в Париже, только стоят там не два пенса, а двадцать пять сантимов (полпенни).

3. «Гроб». За четыре пенса вы ложитесь в деревянный ящик, накрытый брезентом. Спать холодно, и хуже всего масса гнездящихся между досками лютых клопов, от которых никуда не деться.

Кроме того обычные ночлежки ценой от семи пенсов и дороже. Лучшая из них – Раутон-хауз, где ты за шиллинг получаешь свой отгороженный спальный отсек и пользуешься превосходными ванными комнатами. Можно также за полкроны взять «люкс», практически гостиничный номер. Помещения Раутон-хауза великолепны; единственный тамошний недостаток – строгий режим, запрещающий готовить еду, играть в карты и т. п. Вероятно, самая убедительная реклама Раутон-хаузу то, что он всегда до отказа набит жильцами. Столь же великолепен Брюс-хауз, где берут на пенс больше.

Далее, лучше прочих по части гигиены общежития Армии спасения, цена семь-восемь пенсов. Общежития разные (довелось мне побывать и в таком, где грязи было, как в рядовой ночлежке), но в большинстве и чистота и хорошие ванны; впрочем, ванну оплачиваешь дополнительно. За шиллинг будешь спать в отдельном боксе. Кровати восьмипенсовых спален достаточно удобны, только их чересчур много (как правило коек по сорок в комнате) и стоят они так тесно, что на спокойный сон рассчитывать нельзя. От бесчисленных жестких ограничений пованивает тюрьмой и филантропией. Приюты Армии спасения годятся лишь для тех, кому важнее всего гигиеническая сторона.

Наконец, всякие ординарные ночлежки. Там, платишь ли семь пенсов или шиллинг, везде душно и шумно, постели одинаково грязны и одинаково неудобны. Искушается это вольной волей, атмосферой *laissez-faire*^[130], теплом почти домашних кухонь, на которых можно посиживать в любое время суток. Не жилье, а берлоги, но с каким-то подобием человеческой жизни. Ночлежки для женщин, говорят, обычно еще хуже мужских. Заведений, приспособленных для семейных пар, чрезвычайно мало; не редкость, когда муж спит в одной ночлежке, жена в другой.

Обитающих сегодня в лондонских ночлежках по меньшей мере тысяч пятнадцать. Для людей с недельным заработком ниже двух фунтов это выход. Меблированную комнату так дешево вряд ли снимешь, а здесь и бесплатные печки с плитами, и какие-никакие ванны, и общество в изобилии. Что касается грязи, не самая страшная беда. Действительно плохо то, что идешь в ночлежку спать, но именно выспаться невозможно. Получаешь за свои деньги узенькую койку длиной метра полтора, с

горбатым каменным матрасом, подушкой вроде чурбака, одной тонкой накидкой и парой серых вонючих простынь. Зимой выдают одеяла, но их всегда нехватка. К тому же коек в комнате минимум пять, а иногда по пятьдесят-шестьдесят, с полуметровыми проходами. В этих условиях, конечно, нормального сна не будет. Такими скотскими стадами люди спят еще только в казармах и больницах, но в палатах общественных больниц никто и не надеется отсыпаться, а в переполненных солдатских казармах хотя бы постели удобные и народ здоровый. Теперь представьте квартирантов ночлежек, почти поголовно страдающих хроническим кашлем, часто встающих из-за своих застуженных мочевых пузырей; шум и беспрерывная возня ночь напролет. По моим наблюдениям, спать удастся от силы часов пять – просто гнусное надувательство за твои семь или более пенсов.

Законодательства могло бы здесь кое-что подправить. В уставе Лондонского графства множество указаний относительно ночлежных заведений и ничего об интересах самих жильцов, насчет которых только запрещения распивать спиртные напитки, драться, играть на деньги и т. д. Пункта, обязывающего предоставлять приличные кровати, нет. Хотя добиться этого было бы совсем просто – гораздо проще, чем искоренить азартную игру. Содержатели ночлежек должны были бы обеспечивать жильцов достаточно пригодными матрасами и постельным бельем, и прежде всего – сделать в спальнях перегородки. Неважно, сколь мал будет отдельный бокс, – важно, что человеку необходимо спать в одиночестве. Всего несколько дополнительных, строго обязательных пунктов дали бы огромные перемены. Ночлежки можно оборудовать с разумным комфортом даже при нынешних расценках. В муниципальном ночлежном доме Кройдона за девять пенсов и нормальные кровати, и стулья (уникальная для ночлежек роскошь), и кухня с окнами, а не под землей. Почему бы и прочим девятипенсовым ночлежкам не достичь того же уровня.

Разумеется, владельцы, имея сейчас колоссальный доход, станут *en bloc* ^[131] противиться любому изменению. В среднем ночлежка за ночь приносит от пяти до десяти фунтов, причем злостных должников тут практически не бывает (кредит строжайше запрещен), а расходы, за исключением арендной платы, мизерны. Всякое улучшение условий означало бы уменьшение толкотни, то есть снижение прибыли. Тем не менее пример муниципальной ночлежки в Кройдоне показывает, что и за девять пенсов хорошо обслуживать **возможно**. Несколько верно направленных законодательных параграфов везде создадут человеческие условия. Если власти вообще намерены заниматься ночлежными домами,

то начинать надо с реальных удобств, а не дурацких запретов, которых никогда не допустили бы в гостинице.

На пути из Нижнего Бинфилда мы с Падди заработали полкроны, прополов и убрав чей-то садик, и потом, после ночевки в Кромли, снова явились в Лондон. И через день-другой расстались. Я одолжил у друга Б. еще два фунта, в последний раз, так как до конца передрыг оставалось продержаться всего неделю. Мой наконец прибывший дебил оказался не столь хорош, как я предполагал, но не настолько плох, чтобы мне захотелось обратно в торчок или в «Трактир Жана Коттара».

Падди пошел на Портсмут, где какой-то приятель вроде бы мог помочь найти работу, с тех пор я его никогда не видел. Недавно до меня дошел слух, что он попал под колеса и погиб, но, может быть, сообщивший просто перепутал его с кем-то. Буквально позавчера я получил известие о Чумаре: сидит в кутузке – две недели за нищенство. Не думаю, что тюрьма его сильно беспокоит.

Здесь я закончу свою историю. Историю довольно тривиальную, могу лишь надеяться, что она будет неким образом интересна как вариант этнографического дневника. Я просто рассказал – есть мир, он совсем рядом и он ждет вас, если вы вдруг окажетесь совсем без денег. Этот мир мне еще непременно надо будет изучить глубже и точнее. Я очень бы хотел узнать таких людей, как Марио, или Падди, или скулежник Билл не по случайным встречам, а близко, по-настоящему; я очень бы хотел понять, что же действительно творится в душах плонжеров, бродяг, постоянных жильцов набережной. Пока, конечно, мне приоткрылся лишь краешек нищеты.

Но все же кое-что, слегка хватив бедняцкого лиха, я усвоил. Я никогда уже не буду думать о бродягах, что все они пьяницы и мерзавцы, не буду ждать благодарности от нищего, которому я кинул пенни, не буду удивляться слабоволию тех, кого выгнали с работы, не буду опускать монеты в кружку Армии спасения, отказываться на улице от рекламных листовок и наслаждаться угощением в шикарных ресторанах. Начало есть.

Примечания

Чертova шлюха! (фр.)*(здесь и далее без специальных ссылок примечания переводчика).*

Ну и потаскуха! (*фр.*)

Да заткнись, сволочь старая! (фр.)

4

Хозяйка (фр.).

5

Кредит скончался (*фр.*).

Землянички и малинки (*фр.*).

Как пойти замуж за солдата, если люблю я целый полк? (фр.)

Ах, любовь, любовь! Ах, это женщины меня сгубили! (*фр.*)

Дамы и господа (*фр.*).

Утонченным, порочным (*фр.*).

Но жизнь прекрасна (*фр.*).

Под американца (*фр.*).

Ну вот! ($\phi p.$)

Неизбежно (*фр.*).

«Молодым скелетом» (*фр.*). Из стихотворения Ш. Бодлера «Веселый мертвец» (Шарль Бодлер. Цветы зла. Перевод Эллис. Л., 1970, с. 109).

Буквально – «дерьмо!» (*фр.*); популярное ругательство в значении «черт!», «черт бы побрал!».

«Свобода, Равенство, Братство» (фр.).

Номер ($\phi p.$).

Вот как! (*φρ.*)

Вот, мой друг! (*фр.*)

Ну что же, друг мой (*фр.*).

От французского *plongeur* – мойщик посуды (в ресторане).

Еще поживем! (фр.)

Дело решенное (*фр.*).

Атакуйте! Атакуйте! Атакуйте! (фр.)

Из золота (*фр.*).

И бриллиантов (*фр.*).

К сожалению (*фр.*).

Телеграмма, посланная парижской пневматической почтой (*фр.*).

Хорошо, ладно (*фр.*).

Но господин капитан (*фр.*).

Ирония Оруэлла здесь в том, что Борис пересказывает ему сюжетную завязку очень трагического рассказа И. С. Тургенева «Жид».

Удрать (*фр.*).

Военная хитрость (*фр.*).

Удостоверение личности (*фр.*).

Ну уж, ей-богу (*фр.*).

Пошли! (фр.)

Твердых (т. е. дешевых) цен (*φρ.*).

Пароль (*фр.*).

Вполне очевидно (*фр.*).

До встречи (*фр.*).

Эти господа (фр.).

Ну разумеется (*фр.*).

Плевал я! (фр.)

Тушенный (*фр.*).

Заведующий персоналом (*фр.*).

Посторонись, болван! (фр.)

Готово, два яйца-меланж! Готово, один картофельный соте-шатобриан!
(фр.)

Дорогой мой господин англичанин (*фр.*).

Пошел отсюда! (*фр.*)

Ты не особо шустрый (*фр.*).

Имеется в виду легендарная авантюрная жизнь великого скульптора эпохи Возрождения.

Выстрел; в переносном смысле «самый разгар», «критический момент» (*фр.*).

Ругань, брань, головомойка (*фр.*).

Что, здорово надрался, да? (фр.)

Старинный, самый привилегированный английский колледж, питомцем которого был и сам Оруэлл.

Ты меня достал. (*фр.*)

Старина, дружище (*фр.*).

Умелый работник, мастер (*фр.*).

Запускай телячью котлету! (фр.)

Ну, дружок, просто великолепно! (*фр.*, с вульгарным произношением).

Выйти из положения, выкрутиться (*фр.*).

Заказ (фр.).

И так, черт бы их взял, сойдет! (фр.)

Ординарное (низкосортное, с выдержкой менее одного года) вино (фр.).

«Цыпленок по-королевски» (фр.).

Послушай, мой дорогой (*фр.*).

Ну и вид у тебя! (вульг. фр.)

Ты чокнутый! (*вульг. фр.*)

Любительница английской литературы называет роман американской писательницы Г. Бичер-Стоу.

«Так отплясывала чарльстон, что у нее свалились панталоны». (фр.)

Танец живота (*фр.*).

Пол-литровые бутылки (*разг. фр.*).

«К оружию, граждане! В отряды собирайтесь!» (фр.)

«Да здоровствует Германия!» (фр.)

«Долой Францию!» (фр.)

Газета французской компартии (*фр.*).

Совершить революцию. (фр.).

Беременная (фр.).

Как же это! (*фр.*)

Мы все-таки прорвались, друг мой! (фр.)

Долой буржуев! (фр.)

Потрясающий (*фр.*).

Нервного припадка (*фр.*).

О, сударь мой дорогой (*фр.*).

Внимание, француз! (фр.)

Подробнее см. прим. к Главы 32, прим. 113.

Марк Порций Катон (Старший, или Центор) – консул 195 г. до н. э., историк, оратор, автор руководств по различным отраслям практической деятельности.

«В любом окне видящий только хлеб» (*фр.*). Из поэмы Ф. Вийона «Большое завещание»; в русском переводе Ф. Мендельсона это строчки «Но в сердце мрак и пуст живот, Он не наполнен и на треть, На девок ли теперь глядеть...» (Ф. Вийон. Стихи. М., 1963, с. 71).

90

Очень порядочная (*фр.*).

Знаменитый английский нищий (в оригинале имя приведено во французской транскрипции – *Daniel Dancer*).

Нате-ка! (*φρ.*)

Но тогда ($\phi p.$).

Имеется в виду пролив Ла-Манш.

«Кип» на жаргоне – место для сна.

Революционный бунт (*фр.*).

Странно, но факт общеизвестный: клопов на юге Лондона гораздо больше, чем на севере, и почему-то эти насекомые не совершают массового перехода через реку (*прим. автора*).

Ист-энд – восточная, «пролетарская» часть Лондона. Далее упоминаются районы Ист-энда.

«Торчок» на жаргоне – учрежденный при работном доме (доме для нищих, постоянно проживающих на общественном содержании) временный приют с одноразовым ночлегом для нищих бродяг.

Уильям Бут (1829—1912), основатель и глава устроенной по армейскому образцу христианско-благотворительной Армии спасения.

Стрэнд – одна из главных лондонских улиц, соединяющая Сити и Вестминстер.

Жаргонные и разговорные обозначения монет: «тутыш» – полкроны (2,5 шиллинга); «бычок», «боб» – шиллинг; «рыжак» – шестипенсовик (0,5 шиллинга).

Веспасиан (9-79 н. э.) – основатель императорской династии Флавиев. Восхождению его способствовали воинские победы (в частности покорение некоторых земель Британии), особой славы он достиг как триумфатор в войне с иудеями.

Прозвище типичных лондонцев, массового населения, говорящего на своем особом, «неправильном» диалекте.

Рисовальщики на тротуарах покупают малярные порошковые пигменты и, замесив их на сгущенном молоке, сами делают рисовальные цветные плитки (*прим. автора*).

«Жвач» (в оригинале *quid* – кусок прессованного жевательного табака)
на жаргоне – фунт стерлингов.

«Крап» на жаргоне – подаяние, «крапать» – давать милостыню.

«Козырной» на жаргоне – помощник, напарник уличных артистов и торговцев, работающий среди публики.

Слово, неперебиваемое на английский, но хорошо понятное на французском. В наречиях Индостана второе лицо обозначено двумя местоимениями. Одно более уважительное – «эп» соответствует французскому «вы». Другое – «тум» соответствует французскому «ты», употребляется между близкими друзьями или в обращении высшей персоны к низшей. Англичанин никогда не позволит аборигену обращение «тум» (*прим. автора*).

Эльзасия – старинное название участка Лондона, принадлежавшего монастырю Белых монахов; в XVII веке всякого рода преступники укрывались там, пользуясь экстерриториальным «правом святости», отмененным в 1697 г. (*прим. автора*).

Джуди – персонаж английского кукольного театра, подруга Панча.

Роберт Смит Сартис (1803—1864) – английский романист, известный яркими сатирическими образами быта и нравов.

Остатки сохранились некоторыми выражениями типа «не бери в полпенса», то есть «не бери в голову». Это «полпенса» возникло по цепочке: «голова» с рифмой «дешевая халва» – халва на полпенни – полпенса (*прим. автора*).

Foutre – подразумевающее половой акт «делать», в ряде устойчивых оборотов употребляется как «наплевать», «швырять» и пр.; *le bougre* – в разговорном языке «парень, пройдоха», в первоначальном смысле «извращенец» (фр.).

Плевал я! (*фр.*, см. предыдущее прим.)

На хиндустани (во французской, не совсем точной транскрипции) *bahin* – сестра, а *chut* – половой член. Назвать кого-то «бахиншу» значит провокационно сообщить, что вы в самых интимных отношениях с его сестрой. Произносимое как «барншут», слово было принесено британскими солдатами в Англию, где совершенно потеряло исходный смысл (*прим. автора*).

Повторяющий название флага Британской империи массовый официальный журнал.

Юмористический еженедельник, состоит главным образом из карикатур.

«Клюв» на жаргоне – судья.

(*Great Rebellion*) – гражданская война в Англии, 1642—1660 гг.

Повод к войне (*лат.*).

Речь идет о написанном в 1899 году романе Эрнста Уильяма Хорнунга «Рэфлз, взломщик-любитель». Интерес и симпатия к герою целой серии повествований о похождениях отважного авантюриста выразились не только в частых упоминаниях и образных переключках, но и в специальном эссе Оруэлла «Рэфлз и мисс Блендиш».

Роман Вальтера Скотта.

Позже я побывал там и свидетельствую – отнюдь не худший (*прим. автора*).

Агасфер или Вечный жид – согласно средневековой легенде, за непочтение к Христу осужденный на вечную жизнь, вечные скитания.

Самим фактом существования (*лат.*).

Заранее, без доказательств (*лат.*).

Данные явно преуменьшенные, к тому же пропорция чересчур хороша
(прим. автора).

Справедливости ради надо отметить, что уже несколько приютов недавно улучшили условия, по крайней мере для сна. Но в большинстве все осталось по-прежнему, а относительно еды вообще нигде никаких перемен (*прим. автора*).

Вольности; дословно – «не приставайте, оставьте в покое» (*фр.*).

Единой массой, сплотившись (*фр.*).